

Произведения лауреатов и дипломантов Пятого открытого литературного конкурса имени Всеволода Остена - Номинация «Малая проза и публицистика»

Номинация «Малая проза и публицистика» 2026

Первое место (золото) и звание лауреата:

[Пучков Андрей Викторович](#) (персональный номер участника - 590)

Второе место (серебро) и звание лауреата:

[Нурмухаметов Тагир Гарифуллович](#) (766)

Третье место (бронза) и звание лауреата:

[Балыкова Мария Сергеевна](#) (861)

Звание дипломанта:

[Алерия-Элиза Вейсс \(Самойлова Юлия Алексеевна\)](#) (636)

[Марфа Соболева](#) (721)

[Колмогорова Наталья Ивановна](#) (778)

[Шеменёв Владимир Николаевич](#) (569)

[Бондарева Мария Яковлевна](#) (860)

[Максиков Николай Алексеевич \(Николай Максиков\)](#) (615)

[Есина Наталья Геннадьевна](#) (863)

[Павлова Вера Валерьевна](#) (667)

[Авдеенко Сергей Иванович](#) (566)

Пучков Андрей Викторович – родился в 1963 год посёлке Хандальск Абанского района Красноярского края. После армии служил в МВД. Военный пенсионер. Начал писать стихи и рассказы, которые публиковались на страницах журналов и литературных сборников Красноярского края, Кемеровской области, Москвы и Московской области и ЛНР. Также в литературных журналах Узбекистана и США. Участвовал и побеждал в литературных конкурсах России. Живёт в г.



Последний полёт Феникса

Раздававшийся неподалёку голос показался знакомым. Очень знакомым. Настолько, что я, довольный, улыбнулся. Если этот голос рядом, значит, всё будет хорошо. Я знаю это. Это голос моего друга, да чего там друга. Брат он мне! С большой буквы Брат! С огромнейшей такой буквы!..

Я попытался подняться и вдруг, к своему изумлению, ткнулся физиономией в землю. Пришла идиотская мысль: «Хорошо, что трава попалась. Если бы мордой в асфальт, ободрал бы на раз!..»

– Так, что за фигня... – пробормотал я, – какой к чёрту асфальт!.. О чём я тут вообще думаю-то?..

– Ты чё там бормочешь, Саня? – раздался насмешливый голос друга. – Совсем крышей двинулся, что ли?

– Да бес его знает, – поморщился я от боли в запястьях и открыл глаза.

Реальность навалилась тяжким душным комом, так, что еле сдержался, чтобы не застонать от тоски.

Теперь понятно, почему я такой беспомощный и почему мордой в траву, – руки за спиной связаны.

– Ты, Феникс, сам-то как? Жив-здоров? – спросил я, усаживаясь на земле удобнее и стараясь не шевелить туго стянутыми за запястья руками. – Слышу, голос вроде знакомый... дай-ка, думаю, поздороваюсь, столько лет всё же не виделись.

– Да я-то в норме, – усмехнулся он, – а вот как у тебя дела с бестолковкой, не ведаю. Приложило капитально. Ты, можно сказать, чуть ли не в воронке оказался. Однако гляди-ка, живой.

– Да кажется в порядке, – кивнул я, отплёвываясь от прилипших к губам травинки и осторожно осматриваясь.

Друг и брат, это хорошо в мирное время. Когда же вы оказываетесь по разные стороны баррикад, это совсем другое. Хотя тоже неплохо. Относиться, может, полегче будут, по крайней мере, некоторое время.

В голове наконец-то прояснилось, мир, перестав раскачиваться, встал на своё место. Не считать же, в самом-то деле, звон в ушах и боль во всём теле катастрофой? Главное живой, а значит, не всё потеряно. Ну а дальше поглядим... Жизнь она штука такая, замысловатая, сейчас вот пинка дала, а немного погодя, глядишь и пряничек подсунет.

Феникс, или, если хотите, Виталия Моисеенко, сидел рядом со мной на корточках и внимательно меня рассматривал. Виталия. Друг мой с самого детства. Выросли в одном Красноярском дворе. Вместе к девчонкам дружить бегали. Даже служить в Костромской десантный полк вместе попали. Потом вместе в Рязанское училище ВДВ, где он и приобрёл второе имя – Феникс.

Затем чеченские войны, на которых мы с ним, можно сказать, окончательно сроднились. Не раз и не два жизнью рисковали, прикрывая друг друга. Хорошо повоевали, если это понятие вообще можно к войне применить. У нас даже награды одинаковые, к которым мы относились со здоровой иронией. Уважали их, как же без этого, в конце концов, собственной кровушкой за них плачено. Но как говорится, предпочли бы энную сумму в кармане вместо металла на груди, а ещё лучше, если всё вместе.

Но особо и не огорчались, понимали, что время страшное началось, дикое. Заклятые импортные друзья, воспользовавшись тяжёлым положением, рвали страну на части. Улыбались мило, сочувственно ручки заламывали: «Ах, какой, ужас! Людям головы, говорите, отрезают?! Надо же, кто бы мог подумать. Заложников целыми школами берут?! Ну надо же... Говорите, сотня детей погибла?!.. Ай-я-яй!.. Какая неприятность!.. Нет-нет, не может такого быть! Вы говорите неправду! Эти бородатые повстанцы, всего лишь протестующий народ. Они просто не могут себя так плохо вести!»

Сами же, с иезуитским удовольствием глядя на кровавый хаос, терзающий Россию, с банковской точностью перечисляли озверевшему от крови сброду миллионы долларов.

Все войны когда-нибудь заканчиваются. Закончилась и эта. Жизнь начала налаживаться, служба катилась дальше, со своими взлётами и падениями. Катилась, катилась и докатилась до почётных проводов на пенсию. Тут-то наши дорожки и разбежались по разным странам.

Родители Феникса перебрались на свою историческую, жовто-блакитную родину. Вслед за ними и он свою семью туда перевёз. И всё бы ничего, расстояние по нынешним временам не проблема. Загрузился в самолёт, и через несколько часов вот он я, встречай, мать городов русских!

Но не судьба, как говорится. Поначалу-то частенько перезванивались, а потом всё реже и реже. Наконец пришло время, когда вместо знакомого голоса я слышал только короткие гудки. Жалко. Очень жалко!.. Никогда не забуду, как он, хрипя от натуги, тащил меня на связанной из веток волокуше и приговаривал:

– Потерпи, братан!.. Потерпи, обязательно выберемся. Ещё немного осталось...

Это немного растянулось на двое суток, в течение которых Феникс, будучи сам раненным, таскал мою полуживую тушу по кавказским горам. Он справился, и сам выжил, и меня вынес. С тех пор его голос стал для меня голосом жизни. Только так, по-другому не скажешь.

Затем случился Донбасс и всё, что с ним связано. Мало этого показалось хохлам, взгромоздили они себе на холку кровавого комедианта, и понеслась кривая с косою по жизням людским.

Я не выдержал и сам пришёл в военкомат. Несмотря на возраст, прибрали меня быстро, как-никак подготовка имела на уровне.

– Ты изменился, – пробормотал я, – постарел, смотрю, поседел...

– Зато ты, гляжу, красавчиком молодым сохранился, – усмехнулся он и приказал: – Повернись-ка спиной, – встал на одно колено, и вытащил из ножен, болтающихся на поясе, нож.

За запястья рвануло, я облегчённо вздохнул, и начал растирать посиневшие кисти рук.

– А водички не найдётся? – попросил я. – Давай уж до конца гостеприимство проявляй.

– Ну да, как же, гость дорогой прибыл! – покачал головой Феникс, и заорал, обернувшись в сторону кустов, прикрывающих узкую щель траншеи:

– Доцент! Подкинь пару бутылок!

Никто не ответил, но из кустов послушно вылетела пластиковая посуда и чуть не попала ему в голову. Виталя выругался, подобрал бутылку и сунул мне в руки. Вторую, летящую также прямо в него, умудрился поймать.

– Вот ведь чёрт! – пробормотал беззлобно. – Ничего не умеет! Как он вообще умудрился выжить? К жизни абсолютно не приспособлен, – он вопросительно посмотрел на меня, словно ища поддержки, и тяжело вздохнул:

– И это я ещё про мирное время говорю, когда возможностей скопытиться гораздо меньше.

– Неужто и правда учёный? – проявил я вежливый интерес.

– А то! Самый настоящий и есть! И между прочим, довольно известный не только у нас в Украине, – он протянул мне вторую бутылку:

– На, рожу умой, вся в земле.

Я кивнул и, не поднимаясь, стал лить на голову из бутылки воду, с наслаждением чувствуя, как она стекает с головы под камуфляж. Полегчало окончательно. Чтобы прервать затянувшееся молчание поинтересовался:

– Как твои девочки? Надеюсь, с ними всё в порядке?!

– Да, слава богу, живы-здоровы, – улыбнулся он, забрал у меня из рук пустую бутылку, и забросил её в кусты. Потом, усмехнувшись, спросил:

– Ты знал, что у меня ни сыновей, ни внуков? Одни девки рождались.

– Про внучек не знал, к этому времени мы с тобой уже потерялись.

– Да бог с ним! – досадливо отмахнулся Виталя. – Карта так легла...

– Слушай, ты бы руки мне связал что ли, подставляешься ведь, – предложил я, заметив, как из окопа высунулся боец и начал настороженно осматриваться, – а то заметят моё вольготное положение и наябедничают.

– Да плевать я на всё хотел! – зло фыркнул Феникс. – О том, что тебя притащили, уже, разумеется, узнали. Но ни для кого не секрет, что скоро здесь станет жарко, а посему, – потёр он ладони, – в ближайшее время заинтересованные лица сюда и носа не покажут.

– А бойцы твои?

– Мои бойцы, говоришь! – он обернулся в сторону траншеи и крикнул: – Акула! Выгляни-ка на свет божий, – и дождавшись, когда из неё вылезет невысокий худощавый солдатик в замызганном камуфляже и одетой набекрень каске, поинтересовался:

– Вань, тебе есть вот до него какое-нибудь дело? – и он ткнул в меня пальцем.

Тот окинул меня озадаченным взглядом, пожал плечами и выдал:

– А кто это?

– А это, Вань, москаль. Под утро, которого притащили, неужто не помнишь?

Иван опять пожал плечами, пробормотал что-то вроде «тогда утащите его обратно» и поспешно полез обратно в траншею.

– Чихать они хотели и на тебя, и на твою российскую принадлежность. Жить они хотят, вот только выживать не умеют, – и он зло сплюнул.

– А дальше-то что? – спросил я, внимательно осматриваясь, мало ли, коль такая пьянка пошла, может, случай и подвернётся...

В десятке метров углядел блиндаж, довольно грамотно замаскированный. Чуть дальше огневая точка с обвалившимся бруствером. Потом ещё одна. Дальше уже видно не было. Траншея изгибалась. Но чутьё подсказывало, тянется она по лесопосадке далеко.

– Дальше... говоришь... – пробормотал Феникс, вытащил из кустов, росших неподалёку пустой ящик из-под цинков, и уселся на него.

– Хороший вопрос Саня. Много раз я его себе задавал. «Что же дальше будет?» Задавал с тех самых пор, когда в первый раз увидел нацистов, марширующих по улицам Киева. Знаешь, сначала даже не верилось. Думал, перебесится молодёжь. Национальная гордость народу в голову ударила. Бывает, наверное, и такое. Мы, мол, теперь сами себе хозяева. Что хотим, то и воротим. Всё надеялся, что этот угар пройдёт со временем. Переболеют бандеровщиной, как чумой! Всё-таки столько жизней Украина потеряла! Миллионы! Должен быть у неё иммунитет от этой заразы. Должен быть... Не прошло это, Саня, и даже не собиралось проходить. Не выработался иммунитет, – он тяжело вздохнул, обвёл взглядом полянку, и спросил:

– Знаешь почему?

– Нет...

– Для меня это стало понятным, когда внучка, придя из садика. Показала деревянный нож и гордо заявила, что эти ножики им выдали, чтобы убивать русских. Я, Саня, это уже видел! По ящику чуть ли не каждый день гоняли, как девчушка-несмышлёныш, размахивая ножом, заявляет, что будет русню резать. И вместо того, чтобы прийти в ужас от этого, они радуются, какое, мол, дитя славное, а у этих нациков, – он ткнул большим пальцем себе за спину, – в руках уже не деревянные ножи, а настоящие. И не только ножи... Всё мы, Саня, потеряли! Вообще всё! Второе поколение фашистов подрастает! Не хватило у нас духу на своих детей руку поднять... страшно это, когда отец на сына, брат на брата... – он махнул рукой и устало закрыл глаза.

– Почему семью не вывез?

– Не успел... Знаешь, смотрел на этот кошмар, и глазам своим не верил. Разумом понимал, что убивают страну, а поверить в это не мог. Когда же спохватился, понял, что опоздал. Пришёл ко мне вежливый эсбэушник и, добродушно улыбаясь, сообщил, что в интересах безопасности моей семьи за ней будут приглядывать. «Как бы чего не случилось, времена, знаете ли, военные, пострадать ваши девочки могут ненароком. Чтобы этого не произошло, вам надобно следовать в военкомат, и чем быстрее, тем лучше». Говорит спокойненько так, ласково, а мне, глядя на него, страшно стало. Глаза у него пустые, жизни в них нет. Такой перехватит глотку от уха до уха любому, будь то взрослый или ребёнок, разницу даже не заметит.

Как оказалось, ящиков из-под патронных цинков в кустах валялась целая куча. Я выудил ещё один, пристроил его рядом с бывшим сослуживцем, сел, и с удовольствием вытянул ноги.

Что здесь происходит непонятно. Из командования, никого, кроме пожилого Феникса. Чего мне ожидать, тоже неясно. Спрашивается, зачем меня вообще тогда сюда притащили, если я никому не интересен?

Но как оказалось, моей скромной персоной всё же заинтересовались.

Где-то в траншее раздалась возня, послышались громкие голоса, и я увидел, как из-за поворота вынырнули двое военных и, пригнувшись, быстро направились в нашу сторону.

– Ты смотри?! – присвистнул Виталя и, поднявшись с ящика, бросил на него свой кепи. – Надо же, начальство собственной персоной пожаловало! – он хохотнул и громко, стараясь чтобы его наверняка услышали выбирающиеся из траншеи закамуфлированные гости, съязвил:

– Ты, пан начальник, никак смерти бояться перестал? В любой момент ведь прилететь может, даже мявкнуть не успеешь.

– Ничего, я быстренько! Москаля вот только заберу, да обратно подамся. Есть нам о чём с ним поговорить, – он, запрокинул голову, и засмеялся, почёсывая пальцами плохо пробритый кадык.

Молодой мужик, лет тридцать, не больше. Одет в новый забугорный камуфляж. На голову выше меня. Роба, как две мои физиономии. Неприятный тип, и не потому, что враг, он, скорее всего, по жизни такой. Судьба, она тварей метит. Этот, похоже, лучший представитель меченых, одни белёсые глазки, которые он постоянно щурит, чего стоят.

Второй, неприметный, как и я, среднего роста, примерно моей комплекции. Ничем выдающимся похвастать не может. Держится чуть позади, но камуфляжик тоже пока не обмятый, видно, что с землёй эта парочка ещё не встречалась. Не доводилось им на вкус её пробовать.

Повинуясь знаку Феникса, подниматься не стал, так и сидел на ящике, с интересом наблюдая за приближающимся мордоворотом.

Тот подошёл, несколько секунд разглядывал меня, а затем вдруг, ощерившись, зарядил мне с ноги в голову. Я машинально отклонился назад, но понял, что беспокоился напрасно. Тяжёлый армейский ботинок Феникса врезался в ногу бугая с такой силой, что того развернуло на месте. И он, крутанувшись вокруг своей оси, шлёпнулся на спину.

– Ты чё, гад, творишь! – неожиданно тонким голосом взвизгнул он, и усевшись на заднее место, начал растирать ушибленную голень. – Москаля защищать удумал?

– Нет, пленного, – хмыкнул Феникс, – или у вас там по-другому принято? С пленными-то?.. – ехидно поинтересовался он.

Толстый не ответил, поднялся, тщательно отряхнулся и спросил:

– Почему у него руки не связаны?

На этот раз Виталя отвечать уже не стал. Подошёл почти вплотную к нему и, уставившись в глаза, сказал:

– Знаешь, я передумал. Не буду я больше пленного защищать. Москаля ты грохнешь здесь и сейчас. Сам ведь рассказывал, что голыми руками их давил, – он оглянулся на заполнивших траншеи бойцов, выбравшихся поглазеть на подвернувшееся развлечение, – мужики, вон, соврать не дадут. Все слышали, как ты хвастал, что резал их пачками. Даже медалька у тебя, говорят, за рукопашный бой имеется. Выходит, что ты специалист в этом деле.

– Ты чё это затеял? – опешивший от такого поворота дела, проскрипел визитёр и покосился на своего сопровождающего.

– А ты на кореша-то не смотри, в этом деле он тебе не помощник, – зло засмеялся Феникс, тоже глянул на него, и сквозь зубы процедил:

– Или, может, всё же рискнёт?..

Тот, ни слова не говоря, молча поднял перед собой руки раскрытыми ладонями наружу, ясно давая понять, чтобы они разбирались между собой сами.

Я усмехнулся, боялись они Феникса! Ой, боялись! Знали, кто он такой и на что способен. По крайней мере, эти двое точно знали. Вон как мордами «поплыли».

– Только не говори, что очканул, – подначил толстого Феникс, – мачете у тебя, смотрю, страшный, Рэмбо от зависти бы удавился.

– И не боюсь я ничего! – прошипел тот, вытащил из ножен, закреплённых на бедре, здоровенный нож, и направился ко мне.

– Ну-ну-ну! Не так быстро, – осадил его Виталя, перехватывая за руку, – не обезоруженных же ты их резал, дадим этому шанс, – и он бросил мне ножны с торчащей из них чёрной рукояткой.

Я поймал ножны, встал и вытащил клинок. Отлично! «Катран». Сухопутный вариант. Лучше и не придумаешь. Привычно перехватил нож обратным хватом и пошёл навстречу противнику.

Толстый держал нож перед собой в вытянутой правой руке и, размахивая им, приговаривал:

– Ну, давай, давай, подойди, я твои кишки по всему лесу размотаю!

Глядя на его ужимки, стало ясно – этот идиот, выпустит потроха себе сам, без постороннего участия. Я покосился на довольную рожу Феникса, аккуратно положил нож на траву и шагнул прямо на мельтешившее передо мной лезвие. Непонятное поведение противника сбивает с толку не только таких профанов, как этот. Толстый явно обрадовался и, совсем уже несуразно замахнувшись кинжалом, бросился в атаку.

Я легко уклонился от размашистого удара клинка, перехватил руку и, не заморачиваясь освобождением противника от оружия, со всего маху приложился ему берцем по причинному месту. Вот и всё, теперь сам нож выпустит. Без надобности он уже ему.

Так и оказалось. Толстый сипло выдохнул, выронил кинжал, упал на колени и протяжно завыл, уткнувшись лицом в траву.

– Хорошо получилось! Заставил ты его почувствовать себя мужиком, – оскалился в усмешке Феникс и, глянув в сторону начавших расходиться бойцов, добавил:

– Зря ты его пожалел. Это наш идейный наставник. Тварь редкостная. Ей богу, я бы только порадовался.

– Извини, искушение, конечно, велико, но как к этому отнесутся твои бойцы, вопрос, знаешь ли...

– И то правда, – кивнул Виталя и опять уселся на ящик возле дерева, время от времени бросая внимательные взгляды на моего противника. Тот, продолжая подвывать, с помощью своего напарника неуклюже ковылял в сторону траншеи.

– Ты меня им не отдал, что дальше планируешь делать? Они это так не оставят, сам знаешь.

– Знаю, до завтра всё равно никто больше не заявится, далековато. Этот визит – исключение.

– Не будет у вас времени до завтра, – вздохнул я и тоже сел на свой ящик. – Уходить тебе надо до вечера. Забирай свою учёную братию и уходи...

– Что, «Буратины» подтянутся?

– Хуже, «Солнцепёки»...

– А-а-а!.. Хрен редьки не слаще, тоже мне секрет выдал. И так ясно, что этим закончится! – отмахнулся он. – Что-нибудь придумаем, – и, опять подперев спиной дерево, закрыл глаза.

Но тут же встрепенулся:

– Ты ведь уже понял, что к своим вернёшься, а чего меня-то с собой не зовёшь?

– Не пойдёшь ты. Потому и не зову. Они, Виталя, тебе все пути отступления обрезали, нет у тебя выбора.

– Это точно, обрезали, – задумчиво покивал он, – а потом вдруг улыбнулся:

– Но ты, Саня, не переживай, будет у меня ещё полёт впереди. Видит Бог, будет!.. А ты, брат, иди, пора уже. Иди, и не думай обо мне плохо.

– Я и не думаю...

Друга я похоронил на той же полянке. Он так и лежал на ней. Один лежал. Никого больше обнаружить не удалось. Вывел людей из-под удара, а сам вернулся. Вернулся, чтобы совершить свой последний полёт.

Когда придёт время, я тоже вернусь сюда, чего бы мне это ни стоило. Я знаю это место и найду его, даже если здесь останется только чистое поле.

Вернусь и поставлю гранитную плиту. И будет на ней написано: «Вечно тебе полёта, Феникс».

Нурмухаметов Тагир Гарифуллович - родился в 1962 году в городе Троицк Челябинской области. Окончил Челябинский политехнический институт. Инженер – металлург. Начальник лаборатории металлов Троицкой ГРЭС Тагир Нурмухаметов давно известен среди коллег, как человек творческий – автор и исполнитель песен, в том числе посвященных любимой профессии. Публиковался, как победитель многих литературных конкурсов России в сборниках и литературных журналах. Живёт в Троицке.



Хранитель доброты

Ранним апрельским утром по окраине рабочего поселка шел солдат. Шел тяжело, со злостью упирая в подмерзшую за ночь землю костыли. Правая нога, обутая в кирзовый сапог давила тоненькие льдинки, покрывшие весенние лужицы. Лево́й но́ги не было. Сухая кожа лица туго обтягивала скулы, глаза прищурены, словно идет солдат не навстречу утреннему солнышку, а в атаку и целится взглядом в притаившегося впереди врага.

Из крайнего дома вышла пожилая женщина, распахнула ставни окон, выходящих на улицу. Из-под руки взглянула на солдата, проходившего мимо ее дома – может знакомый? Но солдат не был ей знаком и тем не менее, она поздоровалась негромким приветливым голосом:

– Здрав будь, служивый! Далеко ли путь держишь?

– Здравствуй, мать, – отозвался солдат, остановившись и обвиснув на костылях. Видно было, что идет он издалека, пожалуй, с железнодорожного вокзала, и дорога дается ему с трудом. – Напиться у тебя можно?

– Конечно, солдатик, сейчас вынесу, а то – заходи в дом, угощу, чем Бог послал. – Предложила она.

– Спасибо, мать. – Солдат сложил костыли, прислонил их к доскам забора и присел на вкопанную лавочку, переводя дыхание. Солдатский «сидор» пристроил рядом, расстегнул шинель. – Я посижу, отдохну маленько.

Хозяйка смотрела, как пьет солдат небольшими, экономными глотками. На худой, жилистой шее ходит вверх - вниз острый кадык. Шинель распахнулась, открыв на груди две боевые медали – «За Отвагу» и «За оборону Кавказа». Наконец он отнял ковш и утер губы тыльной стороной руки.

– Спасибо, мать. – Еще раз поблагодарил он. – Посижу еще, выкурю сигарку?

– Сиди. – Улыбнулась хозяйка. – Воду уносить не буду, может еще захочешь. – Она поставила ковш на лавку, рядом. – Когда войне-то конец? – спросила она, глядя, как ловко тот скручивает сигарку, – вы же там, рядом с ней, вам наверняка все известно.

– Скоро, мать, скоро! – обнадежил ее боец. – В самой Германии бои идут. Еще месяц-другой потерпеть и дождем его!

– Далеко ль тебе идти? – интересовалась хозяйка.

– До Семеновки, мать.

– Так это ж полтора десятка верст! – охнула та. – Куда ты на костылях? Это сейчас по морозцу легко, а через час-другой подтает, по грязи не шибко разгуляешься!

– Ничего, мать, – усмехнулся солдат. – Пол-Европы прошел, а тут... Как-нибудь.

– Ты вот что – не дури, герой! – повысила голос хозяйка. – У соседки брат – Егор остановился, из Ольховки, у него подвода. Скоро он в обратный путь тронется, это ж как раз рядом с твоей Семеновкой, и тебя прихватит, не откажет. Мужик он добрый, с сердцем...

Телега, запряженная одноглазым конем, поскрипывая тащилась по проселку. Пригорки уже почти просохли от вешней влаги, в низинах еще было сыро, здесь грязь налипала на ободья колес. Возница – дед лет семидесяти, в брезентовом негнущемся плаще, жалея коня, на подъеме спрыгивал с телеги и шел рядом.

– Сиди, сиди, – бросил он пассажиру. – Буян крепкий конь, вывезет. Один такой справный на весь колхоз остался, остальные – старики, вроде меня. Всех добрых-то в армию забрали, а его забраковали из-за глаза. Да и вещей на подводе – твой «сидор», да моя плетенка с котенком.

Апрельское солнышко пригревало, солдат, полулежа на подводе, в пол-уха прислушивался к негромкому говору деда:

– Вчера эвакуированных на вокзал отвез – разрешили им домой вернуться, да припозднился, пришлось заночевать у сестры. А на вокзале – слышь ты, смотрю – сидит котенок мелкий. Как есть – беспризорник! Глаза испуганные, голодный, смотрит на людей, помощи ищет, а им и дела до него нет. Вокруг собак одичалых – тьма! Загрызли бы его, как пить дать! Пожалел я малыша, забрал с собой.

– Котенка пожалел... – усмехнулся солдат. – Тут дети беспризорные ходят. А ты – котенка. Для детей побереги свою жалость!

– Это ты – правильно, про детей сказал! – не обиделся дед. – Только котенок – он тоже ребенок беспризорный. Виноват он, что на свет его родили? В детдом его не определяют, в столовых не накормят. А ведь тоже – живая душа. – Старик посмотрел на пассажира, вздохнул: – Ожесточились вы, сынки, сердцем на войне, но это пройдет, по себе знаю. Я ведь и японскую, и империалистическую, гражданскую – тоже прихватил. А доброта, скажу тебе, она или есть, или ее нет. Если есть – то ее на всех хватит, и на ребенка, и на котенка. А уж если нет... – Дед помолчал. – Из пехоты, видать?

– Оттуда, батя. – Отвечал солдат. – Списали, вот, подчистую. Не знаю теперь – радоваться, что жив остался, или плакать?

– Глупые речи говоришь, – нахмурился дед. – Поначалу ты мне умным показался, а сейчас такую чушь сморозил! Иль без ноги люди не живут? Голова цела – вот что главное! Войну прошел – не шутка! Жив остался, награды на груди – значит герой! Домой возвращаешься – это ли не счастье? Ждут, поди, дома-то?

Солдат замолчал, угрюмо поглядывая на дорогу. Дед Егор решил, что попутчику неприятен этот разговор и решил сменить тему:

– В Семеновку-то, к кому направляешься? Я там местных почитай всех знаю.

– Всех, говоришь? – Солдат с надеждой взглянул на деда. – Жену я ищу с дочкой. Еще до ранения письма перестали от них приходить. А написал им из госпиталя – пришел ответ: «Указанный адрес отсутствует». Вчера только приехал в город, а дома моего нет – весь квартал выгорел.

– Это в Слободе? Было дело. – Кивнул дед. – До города война не дошла, бомбили, правда, станцию железнодорожную, но сам город цел остался. А в прошлом году – пожар случился. Ветер, как назло, ураганный – половину Слободы как корова языком слизала. Погибшие тоже были. – Сообразив, что настроения солдату его слова не добавили, осекся: – так значит, своих ищешь?

Солдат угрюмо кивнул головой:

– У знакомых узнал – живы мои. В Семеновке у жены – тетка двоюродная живет, говорят, что она к ней подалась.

– Как зовут супругу-то? – прищурился старик.

– Галиной, а дочку – Катей. Не знаешь таких?

– Знаю, как не знать. – Дед Егор, не скрывая улыбки смотрел солдату в глаза. – Жива-здоровая твоя семья. Только не там ты ее искать взялся.

– Как так? – удивился солдат. – У нас родственников больше нет. А кому они еще нужны в такое-то время?

Дед Егор с укоризной покачал головой:

– Вот сейчас ты опять глупость сморозил. Неужто думаешь, что пока ты фашиста бьешь, защищаешь нас от врага, мы твою семью на улице оставим? Что ж ты так о людях плохо думаешь? Люди, конечно, всякие есть, варнаков тоже хватает, но ведь и они не такими родились!

– Не томи, дед, где мне найти жену с дочкой?

– Так мы сейчас к ним и едем, солдатик. У меня они живут, в моем доме хозяйствуют! Тетка ее – давно Богу душу отдала, дом ее определили под контору, вот я и увез их к себе. Я целыми днями в конюшне, бывает и заночую там, а домик пустует – вот и разместил Галину с Катюшкой. И тебе там место найдется – не чужой, оказывается, человек! – старик рассыпал мелкую дробь доброго смеха.

Солдат, затаив дыхание, слушал деда. Ожесточенное сердце его, полной мерой хлебнувшее страданий и жестокости, казалось, никогда не отгает. Но оно теплело от простых и искренних слов деда, от смеха его, совсем не обидного. Он смотрел на этого несуразного старика, идущего рядом с подводой и только теперь приходило к нему понимание, что слова его – вовсе не рисовка. Просто такой он человек – хранитель доброты. Просто так живет он, одаривая теплом всех, кто рядом – и людей, и коней, и котенка мелкого. И тепло это передается от человека к человеку, делая их добрее и лучше, очищая души от всего наносного и грязного. И глядя на него, любому становится ясно – нельзя жить по-другому!

– Где твой найденыш-то, дед? – внезапно осипшим голосом произнес солдат. Достал из плетеной корзины худого котенка с удивленно – испуганными глазами и прижал к груди. – Ну, что, малыш, поживем у деда, пока свой дом не отстроим? – спрашивал он у малыша, наглаживая мягкую шерстку. – Да такой дом, чтобы и деду Егору там было хорошо!

– Вот это – другой разговор, – улыбался дед Егор. – Теперь ты все сможешь, шутка ли – такую войну одолел!

Балькова Мария Сергеевна – родилась 26 декабря в Нижегородской области. Окончила филологический факультет ННГУ им. Лобачевского. Работала журналистом в газетах и журналах, телеведущей. Участвовала в создании фильмов. Выпускница Литературной мастерской Захара Прилепина. Лауреат литературных конкурсов. Печаталась в сборниках прозы и известных литературных журналах России. Член литературного клуба «Звучащее слово». Резидент авторских читок. Актриса и режиссер авторского моноспектакля. Живёт в Нижнем Новгороде.



Вера в чудо

– Идемте скорее, – ребяташки окружили Елену Ивановну.

– В чем дело? – женщина поставила ведро с водой. Набрано оно было прямо здесь, на Невском, из пробоины в асфальте, оставшейся после фашистского артобстрела.

– По дороге расскажем, – сказал мальчик в огромной ушанке, видно, отцовской.

Елена Ивановна побрела за ребятами. На Садовой вошли в пятиэтажный дом.

Печь с медной дверцей топки, выломанный паркет, сундук с тряпками, на полу – стопка книг, в основном детских – Маршак, Чуковский, Барто.

– Вот, – указал на сундук тот же мальчик в ушанке.

Девочка на тощих ножках, которые смотрелись совсем по-куриному в большущих валенках, аккуратно начала перебирать тряпки. В них лежал человечек, маленький, узкий, как луч света. Невозможно было понять, сколько ему лет или месяцев.

Елена Ивановна, работая педиатром, много видела детских страданий. Да таких, что не всякому взрослому вынести. Говорят, человек ко всему привыкает. Так вот, привыкнуть к творящейся действительности Елена Ивановна не могла.

– Это Настя, наша соседка. Она осталась совсем одна. Помогите ей, – сказал мальчик в ушанке, – Её мама умерла сегодня.

В дальнем углу комнаты на металлической кровати лежала женщина, опухшая от голода. Казалось, просто спала.

Елена Ивановна направилась к сундуку с Настей. Ребенок размером с куклу. Потрогала лобик – горячий. Даже пахнет по-младенчески. Елена Ивановна начала рыться в тряпках, чтобы закутать малышку. Сняла с себя шаль в мелкую дырочку, завернула девочку. Взяла ее на руки. Не весит ничего. Вправду – кукла.

Настя стала новым пациентом детской Ленинградской больницы. Разместили ее в палате для тяжелобольных. В 2 года она весила 4 килограмма. Организм истощен.

Впрочем, почти у всех пациентов была дистрофия. Елена Ивановна никогда не забудет, как заходила в палату и слышала:

– Дай, дай, – мальчики и девочки тянулись хилыми ручками к хлебу.

Врачи, медсестры, нянечки не доедали сами, а детей кормили. Отдавали почти все. Себе оставляли крохи, чтобы держаться на ногах. А держаться надо было: работа круглосуточная, рук не хватало. Медики должны были не только лечить, но и топить буржуйки, носить воду. Операции, переливания крови, уколы делали при коптилках. Также принимали роды. После воздушных тревог ребят переносили в подвал.

Утром Елена Ивановна заглянула к Насте. Состояние девочки по-прежнему тяжелое. Она почти все

время спала. А если просыпалась, то была вялой, едва двигалась и смотрела в одну точку.

– Без изменений, – вдохнула сестра Соня, – Тут уж надеяться не на что.

– Ах, Сонечка, надо верить. Если чему и учит война, так это вере. Забери ее у человека, и совсем худо будет, – Елена Ивановна погладила Настю и поспешила на обход. В коридоре встретила вчерашних ребят.

– Здравствуйте. Мы пришли навестить Настю. И... вот, – Ваня протянул ушанку. Там лежал ремень, – Это Насте. Он кожаный. Сварите.

От мысли о еде у Елены Ивановны желудок сжался и заурчал.

– Вы молодцы, что думаете о слабых. Но мы заботимся о Насте. Заберите ремень.

Елена Ивановна скрылась в палате. Ребята побрели к выходу. Верочка заметила, что на валенок прилип листок и стала его убирать. Но тот никак не давался.

– Пить, – услышала Верочка полусшепот и заглянула в палату. На кровати у двери лежала девочка, тоньше нитки. Верочка не испугалась. Она и до этого видела детей, больных дистрофией. Только у этой девочки ноги были огромные, распухшие. Они едва помещались в мужские валенки. Вера взяла кружку, зачерпнула воды из ведра и осторожно, как цыпленка, напоила девочку. Та взглянула на нее, потом закрыла глаза.

Вера вышла из больницы. На крыльце ее ждали друзья. Рот у девочки скривился, на глазах выступили слезы.

– Мне их жалко... – всхлипывала Верочка.

– А нам, думаешь, не жалко? – спросил мальчик Коля в клетчатом пальто.

– И нам жалко, – ответил точно такой же мальчик в точно таком же клетчатом пальто. Это его брат близнец Толя.

– Только чем же мы им можем помочь? Ремень они не взяли, – сказал Коля.

– Да и одним ремнем не поможешь, – включился в разговор Ваня, – Им не только еда, им папки с мамками нужны. Им семья нужна, понимаешь? Чтобы любовь, радость.

– Точно! Праздник! – у Верочки слезы мгновенно высохли, – Мы устроим для ребят в больнице представление!

– Какое?

– Новогоднее! У всех дома есть игрушки? – глаза у Верочки щурились от улыбки.

Ребята кивнули.

– Давайте из них сделаем перчаточных кукол. И покажем кукольное представление.

– Вера, тогда давай постановка спектакля на тебе? У тебя так выступать хорошо получается. Ты так выразительно на линейке стишок для пионеров и октябрят читала, – Ваня показал большой палец

вверх.

– А что ставить будем? – спросил Коля.

– Я у Насти видела книжку «12 месяцев». Она такая волшебная. То, что нужно.

Ребята пошли домой мастерить кукол.

Верочка решила сделать главную героиню сказки – падчерицу. У нее была подходящая кукла с фарфоровой головкой и тряпичным телом.

Верочка взяла ножницы. Подошла к кукле. Взмахнула ножницами. И опустила руку со вздохом. Как же можно хорошую куклу резать? Ведь даже не играла в нее, берегла.

Девочка пошла убирать ножницы. Оглянулась на куклу. Та смотрела на нее глазами девочки с огромными ногами в мужских валенках.

Вера взяла куклу и разрешила тряпичное тело так, чтобы в его можно было надеть на руку. Теперь она будет дарить радость, а не пылиться на полке. Вере показалось или кукла вправду посмотрела на нее с благодарностью?

* * *

Дату спектакля назначили на 31 декабря, в самый Новый год. Врачи нарядили елку в палате. Ее привезли с окраины Ленинграда, когда ездили разбирать деревянные дома на дрова, чтобы отапливать больницу.

Елочные игрушки медики принесли из дома, некоторые сделали сами ребята из старых лампочек, проволоки, пружин. Ёлка засияла празднично. Впервые в больнице пахло не лекарствами, а хвоей.

В ночь с 30 на 31 декабря Вера, Ваня, Толя и Коля почти не спали. Волновались перед премьерой. Хотя все слова знали на зубок, все равно выступать страшно. Верочка хотела даже расплакаться, но сдержалась. Все-таки теперь она не просто Вера Радостина. Она – режиссер и актриса. И плакать теперь может, только если по роли положено.

На сдвинутые кровати уселись зрители, задумчивые и серьезные.

– А где Настя? – Вера пробежала глазами по собравшимся ребятам.

– Она в палате для тяжелобольных, – ответила Елена Ивановна.

– Но мы же для всех спектакль готовили. Или вы хотите Настю без праздника оставить? – у Веры дрожали губы, но голос был твердым.

Через две минуты Настя лежала на кровати в палате. Глаза у нее были полуоткрыты.

– Сказку Маршака «12 месяцев» вам представят ученики 4 «Б» класса Ленинградской школы № 47!
– объявила Вера.

Дальше был спектакль. Белки с зайцами скакали по сказочному лесу. Падчерица говорила звонким

Вериным голосом. Больше не существовало больничных серых стен, ноющих рук и ног, урчания животов. Ребята перенеслись в сказочный мир, улыбались. Для многих эти улыбки были первыми после долгих месяцев.

И тут страшной действительностью ворвался в мир сказки сигнал воздушной тревоги.

Сестры и врачи схватили младших. Вера взяла Настю. Ваня – малыша с забинтованной головой Мишу. Спокойно, но быстро все двигались в подвал.

Спустились. Елового аромата больше не было. Пахло чем-то прелым. Слышно жужжание комаров. Ничего не видно.

Вдруг из темноты раздалось:

– Даёшь представление?

– Давай! Давай! – скандировали ребята, хлопали в ладоши и стучали ногами.

– Тише, ребята, тише, – успокоила Елена Ивановна, – Представление продолжится, но позже. Все куклы, то есть актеры, остались наверху.

– Они здесь, – наперебой закричали Коля и Толя, – Мы их с собой прихватили.

– Какие ответственные у нас реквизиторы, – похвалил Ваня, – Но все равно здесь не видать ничего.

И тут тьма растворилась в потоке света. Это Миша с перебинтованной головой зажёл отцовский карманный фонарик. Тут же вспыхнул ещё один луч. И ещё. И ещё.

– Акт второй, – объявила Верочка.

Ребята перенеслись во дворец, где Королева никак не могла написать диктант без ошибок. Вот смеху-то было. А потом и вовсе запросила подснежников. И это в декабре. Ну, разве так бывает?

Весь спектакль ребята не проронили ни слова. Подвал, освещенный четырьмя карманными фонариками, превратился в иной мир, где все было возможно. Где встречаются 12 месяцев, где подснежники цветут в декабре и добро побеждает зло.

Сказка закончилась. Нет, не так: представление закончилось. А сказка продолжалась. В сердцах ребят. Каждый хотел обнять артистов. И артисты обниматься рады.

Вера поцеловала Настеньку в макушку, та схватилась маленькой ручкой за куклу падчерицы из сказки.

– Понравилась? Хорошая кукла? На – дарю.

Настя улыбнулась.

Алерия-Элиза Вейсс (Самойлова Юлия Алексеевна) – родилась 4 января в городе Липецк. Студентка Липецкого филиала РАНХиГС, кафедра Экономика и финансы, направление Экономическая безопасность. Участница Липецкого отделения Союза молодых литераторов.

Живёт в Липецке.



Под мышкой

1944 год. Освенцим.

Роды начались глубокой ночью, когда барак был наполнен тяжёлым запахом сырости, пота и страха. Женщина – еврейка, почти прозрачная от усталости, – лежала на нарах, вцепившись пальцами в гнилое дерево. Она не позволяла себе ни крика, ни стоны: здесь боль нужно было глотать. Любой звук мог стоить жизни: ей, ребёнку, всем вокруг.

Акушерка была заключённой, такой же, как и она. Номер вместо имени, чужая одежда, заученные движения. Но руки – тёплые. И голос, едва слышный, шепчущий на идише простые слова, которые не требовали веры: «дыши», «ещё немного», «я с тобой».

Ребёнок родился беззвучно. Крошечное тело вздрогнуло, но плача не было – будто даже

новорождённый понимал, что тишина здесь равна жизни. Акушерка быстро и умело сделала всё необходимое, осматриваясь по сторонам, считая секунды. Она знала: детей в Освенциме не оставляли. Их либо убивали сразу, либо отнимали у матерей навсегда.

И тогда она решилась.

Подмышечная впадина – место, которое не сразу бросается в глаза. Место, куда не смотрят при беглом осмотре. Акушерка достала спрятанную иглу, тонкую, стерильную по лагерным меркам, и каплю чернил, добытую с риском. Она осторожно приподняла руку женщины и быстрым, точным движением набила крошечный знак: простую фигуру, лишённую смысла для посторонних. Не номер, не лагерную метку. Их знак.

Затем то же самое на теле ребёнка, то и дело оглядываясь. В той же подмышечной впадине, тем же движением, той же дрожащей ладонью. Ребёнок вздрогнул, но не заплакал. Крови не было. Лишь едва заметный след, который со временем должен был стать частью кожи.

– Если выживешь, – прошептала акушерка, наклоняясь к матери, – ищи этот знак. Его никто не будет искать. Только ты.

Женщина смотрела, как опускают руку младенца, и в её взгляде было всё: ужас, любовь, отчаяние и надежда. Она не могла прижать ребёнка к себе – ей позволили лишь на мгновение коснуться его плеча, будто подтверждая, что он реален.

Их разлучили практически сразу.

Но вместе с лагерными номерами, колючей проволокой и дымом крематориев в эту ночь появились две татуировки – одинаковые, спрятанные, человеческие. Не как знак принадлежности лагерю, а как обещание, что даже здесь кто-то осмелился поверить: мать и ребёнок – не ошибка, а связь, которую невозможно полностью уничтожить.

1961 год. Иерусалим.

Они встретились не сразу. И не так, как это показывают в кино.

Прошло много лет. Мир успел сменить одежду, язык, флаги. Освенцим стал словом, а не местом. Женщина – старухой с чужим акцентом, с руками, в которых навсегда осталась привычка считать крошки. Она пережила лагерь, переезды, списки пропавших, годы, когда надежда была уже не верой, а механическим движением сердца биться дальше.

Она искала не лицо, ведь знала: лица меняются. Она искала знак.

Каждый раз, когда слышала очередную историю спасённого ребёнка, она спрашивала одно и то же, шёпотом, будто стыдясь собственной настойчивости:

– Есть ли у вас... что-нибудь под рукой? Под мышкой?

Ей чаще всего вежливо отказывали. Иногда недоумённо, иногда с жалостью.

Он узнал о своём происхождении поздно. Ему сказали: «Ты родился в лагере». Без деталей, без имён. Как говорят о чём-то, что нельзя исправить. Он жил с этим знанием, как с тенью – не рассматривая, но и не в силах от него уйти. О татуировке он знал с детства: крошечный, странный знак в подмышечной впадине, не похожий ни на один номер. Его приёмная мать сказала тогда: «Наверное, ошибка».

Он не верил в ошибки, потому что слишком многое в мире выглядело намеренным. Даже добро требовало усилия, а усилие не бывает случайным. Он смотрел на людей так, словно пытался угадать, что в них было выбором, а что – страхом.

Он рано научился молчанию. Не как наказанию, а как форме выживания. Слова казались ему хрупкими: произнесённые вслух, они могли рассыпаться и ранить. Он рос внимательным, болезненно чутким к настроениям других, будто всё время ждал удара, который так и не приходил. Его пугала не жестокость, а равнодушие – тишина после вопроса, отведённый взгляд, долгая пауза. В такие моменты тень внутри него становилась плотнее.

Приёмные родители тоже были тихими людьми. Они не любили громких слов и не задавали лишних вопросов. Отец работал много и возвращался поздно, принося с собой запах холода и металла; он умел чинить вещи и редко говорил о себе. Мать была мягкой, но эта мягкость напоминала тщательно сложенное одеяло, тёплое, но скрывающее острые углы. Она старалась быть осторожной с прошлым, как с треснувшим стеклом: не трогала, чтобы не порезаться.

Они дали ему дом, имя, привычки – простые ритуалы, которые создают иллюзию устойчивости. Но между ними всегда оставалось что-то невысказанное. Не вина. Скорее, осторожность. Они любили его так, как умеют люди, знающие, что есть боль, которой нельзя помочь.

Иногда он ловил себя на странной мысли: будто родился уже взрослым, уже помнящим страх, которого не мог вспомнить. И тогда маленький знак под мышкой начинал жечь, не физически – как напоминание. Не о лагере. О том, что даже начало жизни может быть не началом, а продолжением.

Иерусалим дышал медленно, будто боялся сделать лишний вдох. Камень здесь хранил тепло даже по утрам, и казалось, что город никогда по-настоящему не остывает – ни телом, ни памятью. Улицы были неровными, как мысли человека, пережившего слишком многое: шаг – и ты уже в тени, ещё шаг – и свет режет глаза.

Они оказались в одном помещении случайно – в маленьком зале при архиве, где собирали свидетельства выживших. Ничего торжественного: столы, лампы, папки, запах старой бумаги. В воздухе стояла плотная тишина. Не пустая, а наполненная несказанным. Люди говорили негромко, будто слова могли отозваться эхом там, где не следовало.

Она рассказывала свою историю спокойно, без слёз. Сначала он слушал рассеянно, потом всё внимательнее, потому что некоторые слова совпадали слишком точно.

Когда она упомянула акушерку, когда сказала: «Она поставила знак. Спрятанный. Чтобы нас можно было найти».

Он встал не сразу. Сначала просто перестал дышать.

– Где? – спросил он, и голос его подвёл.

Она посмотрела на него впервые по-настоящему. Долго. Так смотрят не на людей, а на возможность.

– Под мышкой, – ответила она.

Он медленно расстегнул рубашку, не глядя на женщину, словно боялся, что взгляд разрушит хрупкость момента. Поднял руку.

Знак был там. Потускневший, почти растворившийся в коже, но тот же. Та же точка. Та же черта. Та же упрямая форма, сделанная когда-то в темноте, чужой рукой, ради будущего, в которое никто не верил.

Она долго глядела на его знак, словно боялась, что тот исчезнет, если моргнёт. Потом медленно, с трудом, опустилась перед ним на колени, но не как мать, нашедшая сына, а как человек, у которого внезапно отняли опору под ногами.

Её пальцы дрожали, когда она коснулась его кожи. Не самого знака – рядом, осторожно, словно он был ещё новорождённым и мог рассыпаться от прикосновения.

– Ты... – прошептала она, и голос наконец сорвался.

И тогда он заплакал первым.

Не сдержанно, не тихо. Так плачут те, кому всю жизнь говорили быть сильными. Он прижал её голову к своей груди, неловко, не зная, как это делают сыновья, которые выросли рядом с матерями. Его ладонь легла ей на спину, и в этом жесте было всё то, чему его никогда не учили.

Она всхлипнула – и этот звук был страшнее любого крика в бараке. В нём была та ночь. Холод. Солома. Чужие руки, отрывающие ребёнка. Все годы, когда она держала плечо прижатым к телу, будто всё ещё прикрывала маленькую подмышку, где когда-то появился знак.

– Прости, – повторяла она снова и снова, не зная, за что именно: за то, что не защитила, не удержала, не нашла раньше, не умерла тогда вместе с остальными.

– Не надо, – шептал он, задыхаясь. – Ты меня сохранила.

Они обнялись крепче, и вдруг стало ясно, что это не встреча двух взрослых людей, а долгожданное завершение родов, растянувшихся на семнадцать лет. Как будто только сейчас ребёнка наконец-то положили матери на грудь, и мир, пусть поздно, но сделал вдох правильно.

За окнами был обычный день. Люди шли по своим делам. Никто не остановился. Никто не узнал, что в маленькой комнате произошло то, что не смогли уничтожить ни лагерь, ни смерть, ни время.

Два одинаковых знака оказались не просто метками. Они стали доказательством, что любовь выживает, что связь не обрывается, что даже в самом тёмном месте кто-то однажды всё-таки сделал знак на будущее.

И будущее ответило.

Марфа Соболева – родилась в городе Орёл. Окончила юридический факультет МВИ ФПС РФ и финансовый менеджмент (МЭСИ). Обучалась также на госпитальных курсах по уходу за ранеными при больнице Святителя Алексия. Служила сестрой милосердия в военных госпиталях Москвы и Московской области. Занимается волонтерством и социальным проектам. Имеет звание «Почетный волонтер» МООВ «Клуб волонтеров». Её рассказы основаны на личном опыте и опыте коллег. Живёт в Орле.



Рассказы сестры милосердия

1. Снег ел

Я мыла его, аккуратно, стараясь не задеть повязки. Рана на боку, старая, с пожелтевшими краями

бинтов, и ещё – обмороженные пальцы рук и ног.

– Как так? Почему обморожение? – спрашиваю больше себя, чем его.

Он отвечает спокойно, без всяких эмоций:

– Сидел раненый в «лисьей норе» неделю. Ждал, пока свои подойдут. Декабрь на дворе, вот и обморозился.

– Целую неделю? – я пытаюсь уложить это в голове. – А что же вы ели?

Он чуть поворачивает голову в мою сторону, и тем же будничным, почти равнодушным голосом отвечает:

– Снег ел.

Снег ел. Сказал так, будто он всю жизнь только и делает, что сидит в землянке и ест снег.

У меня защемило в носу. Я стою, держа в руках влажное полотенце, и чувствую, как внутри всё сжимается. В горле ком, я не могу пошевелиться.

Он заметил, что со мной что-то неладное, что стою сама не своя. Он выглядел озадаченным, его лицо сначала вытянулось, а потом вдруг расплылось в доброй, почти озорной улыбке, и он доброжелательно произнес: «Да ты это, не горюй, матрос! Неделя – это ж пустяк! Другие еще дольше выживали... недели... месяцы...»

И он протянул мне на ладони крупный, ярко-оранжевый апельсин.

2. Сквозь прутья

Утром мы, как обычно, зашли к нашему юному подопечному Дмитрию в семнадцатую палату. Ему девятнадцать. Мы принесли треники, зубную пасту и щётку.

У Димы ранение правой руки, но он уверенно идёт на поправку и уже готовится к выписке. Впереди – возвращение в родную часть, а перед этим ему очень хотелось повидаться с семьёй.

Родным никак не удавалось приехать в госпиталь, но сегодня они нагрянули внезапно, без предупреждения. Димка даже не успел заранее оформить на них пропуск, поэтому общаться с близкими придётся через забор.

Мы выходим в госпитальный парк и подходим к решетчатому забору. За ним стоят родители Димки и его младшая трехлетняя сестра.

Забор позволял дотянуться – обнять, коснуться. Димка не отходил от своих ни на шаг.

Мама держится спокойно, подбадривает сына, только глаза чуть блестят.

Отец молчит. Он смотрит на Димку и почти не двигается. Потом просунул руку между прутьями и взял руку сына – тонкую, обожжённую, ещё слабую. Кожа на руке чуть розовая, местами с корочками от ожогов. Он гладил руку снова и снова, как будто боялся отпустить.

Димка тихо сказал, что ему больно. Но папа не слышал – смотрел и гладил, будто в забытьи.

Я увидела, как меняется лицо Димки, и всё поняла. Стремительно протягиваю руку отцу:

– Разрешите пожать руку за такого сына.

Отец сжал мою ладонь:

– Спасибо, что вы рядом. Он про вас рассказывал.

Потом папа снял с шеи крестик на серебряной цепочке и передал ее мне. Я надела его на Димку.

– Отдашь мне его, когда вернёшься домой, – сказал глава семейства и проговорил чуть громче:

– Пообещай, что вернёшься! Димка прижал крестик к щеке и пообещал.

Мне нужно было уходить. Я попрощалась и двинулась в сторону госпиталя.

На повороте я оглянулась и увидела, как Димка целует ладони мамы сквозь прутья и прижимает их к лицу.

Рука так и не поднялась, чтобы помахать.

3. Зеркало

В тот день дежурство началось, как обычно. Я пришла в отделение, получила список дел: палата 23 – помыть, палата 25 – побрить и т.п. Одновременно с нами в отделение приходит группа парикмахеров-волонтеров. Мы делаем свое дело, они – свое. Когда они ушли, закончив подстригать лежачих ребят, я заметила, что у одного из бойцов на подушке остались срезанные волосы. Значит, после стрижки его не протирали, не помыли голову и даже подушку забыли отряхнуть. Непорядок. Я подошла к нему. Перемотанный во многих местах, с трудом дотягивается до тумбочки. Пока готовлю таз и предметы для мытья головы лежа, заговариваю с ним. Оказывается, горел в танке, лежит уже много месяцев. Спрашиваю: не побрить ли его – парикмахеры этим не занимались. Он замялся. Тогда я предложила зеркало, чтобы он сам посмотрел и решил. Он берет его у меня из рук, смотрится в него, и... Мир замер, превращаясь в бесконечность и тишину. Молодой парень лежал и смотрел в зеркало неотрывно, как заколдованный, минут пятнадцать, а может и больше.

Я молча держала этот предмет и невольно рассматривала лицо бойца. Оно тоже было обожжено. Вдруг я заметила тонкую розовую линию, и меня осенило: на лицо пересаживали кожу. После этого он долгое время просто не знал, как выглядит! Это был момент истины – молодой человек впервые осознал, что его лицо уже не тот уродливый обгоревший панцирь. Разница между травмированной и нетравмированной частями еще была заметна, но не сильно бросалась в глаза, особенно с учетом мужской щетины. Много месяцев его мыли, стригли, ухаживали за ним, но никто не давал ему увидеть себя и понять, что он уже не «полутруп с процентами поражения», а живой, молодой, вполне привлекательный мужчина.

Тот, на кого можно смотреть.

Тот, в кого можно влюбиться.

Тот, кем можно гордиться.

Выражение его лица изменилось, теперь на нем было написано: «Я есть, я жив, я буду!» Мы побрились, смыли волосы с головы и торса, и я, выдохнув полной грудью, вышла в коридор, чтобы записать в список своих дел: купить зеркало для обгоревшего бойца. И вскоре мы купили не просто зеркала, а зеркала с пятикратным увеличением. Чтобы такие, как он, не увидевшие самих себя в будущем, наконец смогли разглядеть его в этом простом бытовом предмете.

4. Водичка в тазик

Это был самый обычный день в госпитале. Мне дали простое, почти механическое задание: обойти палаты, собрать заявки на стрижку. Формально – ничего сложного. Пришла, поздоровалась, записала в блокнот: к кому прислать парикмахера, кому предложить отправиться на шестой этаж самостоятельно – там уже трудились наши волонтеры-парикмахеры.

Я шла по списку. Этаж за этажом, палата за палатой. Где-то благодарно кивали, где-то просили чуть подстричь «вот тут сзади», где-то махали рукой: «Да какая тут стрижка, нам бы ноги...»

Зашла в маленькую двухместную палату, темно. Под ночником в полумраке боец, лет тридцати. Лежит на животе. Бородатый. Смотрит на меня, как Святой Себастьян с картины Тициана.

Увидел меня, и сразу:

– Стрижка мне не нужна, сестричка. Мне бы водички... В тазик... умыться. Взопрел, спасу нет...

Я замерла. Это не входило в моё задание. Моя тележка с тазами была на несколько этажей выше, и я ещё не закончила сбор заявок на стрижки... Но... В нём было что-то такое – не жалкое, нет. А щемящее. То, от чего в груди всё сжимается.

Я сразу представила: долго пылился в окопах. Наверное, неделями без нормальной помывки. Теперь вот ранен, да так, что даже сидеть нельзя. Только лежать. Только на животе. Всё тело в напряжении, в раздражении, в липкости. А он просит не обезболивающее, не особое питание. Просто – водички в тазик.

Как я могла сказать «нет»?

Я пообещала вернуться.

Быстро дособирала заявки, поднялась за тазиком, пеленкой, ковшиком. Спустилась обратно. Вошла – и он аж приподнялся от радости. Глаза светятся. Словно принесли не воду, а сундук с сокровищами.

Я всё аккуратно подготовила: постелила пелёнку ему под торс, подставила тазик, налила в ковш прохладной воды, как он и просил. И начала лить ему на голову. Потом просто оставила тазик с водой перед ним, и что тут началось! Он плескался с жаром, с толком, с чувством. Этот чудо-богатырь стонал от облегчения и удовольствия, как счастливый щенок, которому впервые разрешили выбежать на траву после клетки. Высокий, бородатый, раненый – и в этот момент просто человек, которому наконец-то не жарко, не липко, не мучительно.

– О-о-о-ох... Аа-а-ай, вот это да! Во кайф! – Наверное, весь этаж слышал его восторженные

завывания, и, может быть, кто-то даже улыбнулся за стенкой. Я стояла рядом и тоже не могла сдержать улыбки.

Он плескался долго, наверное, минут двадцать, а то и больше.

– Благодарствую, от души! – пробасил он, протягивая лапищу за полотенцем – Воскрес, волшебница!

Мы засмеялись. Слишком громко для больничной палаты, но никто не делал замечаний. Как, оказывается, просто сделать человека счастливым!

С тех пор я к нему заходила, когда было время. Просто поведать, поговорить, принести что-то по мелочи. Мы с ним не стали близкими, но он остался для меня одной из тех историй, что впечатываются в память.

Однажды я зашла – а его в палате не было.

Спросила у соседа:

– А он?

– Да ходит уже. По коридору топает, что твой лось! Радуетса, как ребёнок.

Я улыбалась, потому что вдруг ясно поняла: людей нельзя спасти разом.

Их спасают понемногу. Маленькими дозами тепла.

Одному – тазик с водой.

Другому – стрижка.

Третьему – просто посидеть рядом и помолчать.

Большие победы начинаются с маленьких прикосновений.

Колмогорова Наталья Ивановна – родилась 6 июля в Самарской области. Образование педагогическое. Участвовала и становилась лауреатом многих международных и всероссийских конкурсов. Пишет для детей и взрослых, в стихах и прозе. Издано шестнадцать авторских книг для детей и взрослых, в прозе и стихах. Член Союза Профессиональных литераторов. Живёт на станции Клявлино Самарской области.



Серёга

Сухой горячий воздух царапает лёгкие похлеще наждачной бумаги. На зубах скрипит земляная пыль, глаза слезятся от дыма. Он давно готов к встрече со Смертью. Он устал! Какая разница – от чего умереть? От пули, сердечного приступа или пневмонии? В свои неполные тридцать лет он повидал столько, что хватит на собрание сочинений в трёх томах. В последнее время ему часто снятся домашние пирожки с яйцом и зелёным луком. Просыпаясь, он отчётливо чувствует этот запах – запах жареного. Жареным пахнет каждый день! Из соседнего взвода, штурмовавшего небольшое село, в живых осталось только двое...

В мутные глаза Смерти Серёга смотрел много раз. Он знает про неё всё! И неправда, что она забирает лучших – она забирает всяких. Но лучших – намного чаще. Хотя, как понять – кто из нас лучший, а кто – худший? Одному Богу известно! От той мирной жизни, с которой он распрощался без малого три года назад, почти ничего не осталось. Фотографии в телефоне; пара носков, связанных материнской рукой; и полуистлевшие, как военная гимнастёрка, воспоминания. Здесь, на фронте, он понял: ничто в жизни не имеет особого значения. Жизнь – это пустяк! Мимолётное приключение. Отчего ей, жизни, придают такую ценность? Здесь, на войне, она давно обесценилась. Он растерял ценности как-то незаметно, день за днём. Но зато стал прозорливым, как шаман, камлающий под удары бубна. Пришлют, к примеру, новобранцев, а он посмотрит в глаза каждому из них и сразу почувствует, за чьими плечами – погибель, а кто из них ещё покоптит небо. Ошибался? Да, ошибался, но редко.

– Товарищ командир, докладываю: «Баста» – двухсотый.

– И «Рыжий» тоже?

– А откуда вы знаете?

– Отставить вопросы, рядовой.

Раньше Серёга часто молился – за себя, за близких, за товарищей. Сейчас тоже молится, но крайне редко. Он и так знает: чему быть – того не миновать! Если Богу угодно, Он может забрать тебя в любой момент - даже покаяться не успеешь! Тут, на войне, свои законы, гражданским их не понять. Тот, кто каждый день говорит со Смертью на одном языке, понимает и чувствует гораздо больше. И на проблемы смотрит под другим углом зрения.

На гражданке проблема: что заказать в ресторане – «фондю», бутерброды с чёрной икрой или золотой ролл «ЁбиДоёби»? Здесь, на фронте, другие проблемы: успеть выкурить сигарету, пока с небушка не прилетело, или похавать холодной тушёнки, или лечь голодным, под храп вымотанных бойцов? От новых, необстрелянных мальчишек, ещё пахнет мамкиными щами, детскими пелёнками и домашним теплом. От него теперь пахнет потом, порохом и суглинистой почвой блиндажа.

Почему он, Серёга Иванов, до сих пор не женат? Тридцать лет – хороший для мужика возраст обзавестись семьёй, обустроить уютное гнездышко, выгнать детишкам слюни и, обняв жену, засыпать под размеренное тиканье ходиков... Да кто ж его знает – почему? Были у него и девчонки, и женщины. Только всё – не то. Все – не те! Он понятия не имеет, как это – любить? Да и враньё всё это – про любовь. Розовые сопли! Сказки для лохов.

У него теперь есть своя семья, которая никогда не бросит и не предаст. Прыткий и язвительный, как чирей на глазу – мордвин Лёха. Чёрный, как головёшка, и спокойный, как танк – казах Дамир. Начитанный и грамотный татарин Марат.

– Едрён батон! Кому там жить надоело? – Серёга, отодвинув полог землянки, кроет отборным матом.

– Лёха отлить вышел.

– Глухой, что ли? Дрон же рядом!

– Видать, невтерпёж, – Марат снимает сапоги, ложится на топчан и укрывается одеялом с головой.

Серёга психует – каждый раз одно и то же! Сколько ребят погибло из-за своей дури! То с телефоном засветятся, то мусор бросят возле позиции, то сигарету зашмалят на открытом месте. А врагу только того и надо... Нервы у него – не из стального троса! Может и в глаз захватить, если слова доходят, как до жирафа. Хотя со своими бойцами он редко перегибает палку, старается объяснить по-хорошему:

– Запомни, как «Отче наш» – твоя жизнь в твоих руках. Понял?

– Понял, командир.

Только вот подустал он что-то в последнее время, всё стало «фиолетово», на многое наплевать...

Больше всего не любит Серёга несправедливость! Не так давно пришлось заехать в «тыкву» одному медбрату. Ранило Серёгу осколком в руку, загремел в госпиталь. Провалился на больничной койке две недели. И как-то после обхода приходит один умник-санитар укол сделать. И вдруг язвительно так, между прочим:

– Что, понравилось у нас, на больничных харчах?

– Не понял, – напрягся Сергей.

– Гляжу, на фронт не торопитесь.

– Ах ты, гнида! – тяжёлый кулак заехал в лицо санитару, из носа хлынула кровь. – Я три года как на фронте – «жир нагуливаю». И за чужими спинами не прячусь!

В больнице, из-за рукоприкладства, разразился скандал. Сергей, недолго думая, собрал монетки и покинул стены больницы. Недолеченная рука до сих пор даёт о себе знать...

Сегодня на позициях относительно тихо. Дамир приготовил «сестру плова» - рис с тушёнкой.

– Вкусно, – обжигая небо, промямлил Лёха.

– Моя Оля умеет готовить настоящий плов.

– Жена русская? – удивился Марат.

– Да, русская. У нас двое пацанов.

– Ну, ты даёшь! – восхитился Алексей. – А родители не возражали?

– У меня только мать. Сначала была против, теперь смирилась. Внуков любит.

– А у меня дочка, – Марат показал фотографию. – Кызымка, красавица!

– И у меня дочка, – похвастался Лёха. – Ждёт меня, скучает.

Только Серёга смолчал – хвалиться особо было нечем. Завидовал? Не без этого! Дома мать ждёт – не дождётся. А он всегда мечтал иметь старшего брата, такого, как Дамир – спокойного, рассудительного. Почему-то к нему Сергей испытывал особо сильное доверие и симпатию.словно с детских лет играл с ним в одной песочнице, сидел за одной партой и съел не один пуд соли. Не раз ходил с ним на боевое задание, и ни разу не разочаровался в друге. Хотя друзей у Сергея всегда было в избытке, но вот чтобы такое родство душ...

– Если я первым отправлюсь к Богу, поставь мне памятник, - карие глаза Дамира смотрят испытующе.

– Не сомневайся, брат, поставлю. А если я первым – ты мне памятник закажи. Не хочу, чтобы мать

этим занималась.

Рядом с уравновешенным Дамиром Сергеем спокойно. Внешне они разительно отличаются друг от друга. Сергей – словно вылепленный из цельного куска глины: широкая кость, крупный череп; светлые, слегка на выкате, глаза; большой рот с красиво очерченными губами. Порывистый и импульсивный.

Дамир – типичный казах. Невысокий, кряжистый, сдержанный, но упрямый. Вспыльчивый Сергей отходит быстро, а Дамир – долго, хотя и старается не показывать виду. Он часто пишет своей Оле короткие сообщения, что всё у него «жарайды» – хорошо. И добавляет: «махаббат» – люблю.

Сергей за три года войны заматерел, стал крепким, как гранит, а Дамир всего около года назад подписал контракт. Поэтому, на правах опытного друга и командира, Сергей опекает товарища, как может. Часто случается так, что на задания ходит вместо него. И хотя Дамир возражает, аргумент всегда веский:

– Кому твои мальчишки будут нужны? Чужому дядьке? Ты должен вернуться живым!

– Но, брат...

– Никаких «но»! Это приказ.

– «Сам погибай, а товарища выручай!» – вставил словцо Марат.

– Чего?

– Ничего. Так, русская поговорка.

Холодный осенний ветер приволок с собой затяжные дожди, хмурое небо, промозглую хмарь и неутешительные новости – «шаг вперёд, два назад». Лёха свалился с температурой. Нестерпимо хотелось домой – отведать «первача», сходить в баню - попарить уставшее, продрогшее до костей, тело.

– Тебе бы сейчас горячую жёнку под бок – сразу бы выздоровел! – подначивает Марат больного Лёху.

– А ещё лучше спирта грамм двести, – хрипит тот в ответ.

– Тише, сын звонит, – прервал перепалку Дамир.

Все примолкли – весточка с Большой земли дорогого стоит! Старший сын Дамира, Иван, рассказал про успехи в школе, про то, как гулял с собакой, и что в ближайшие выходные они всей семьёй идут в кино. Слышимость была хорошая, поэтому бойцы, не стыдясь, «грели уши», причащаясь мирной жизни и чужого счастья.

– Пап, ты когда вернёшься? Нам без тебя скучно.

– Сынок, ты лучше за мамой и братишкой присматривай. Я скоро вернусь.

– Ладно!

Сергей никогда не был сентиментальным, но, когда слышал трогательные разговоры с детьми, ему становилось не по себе. В такие минуты глубокая непроглядная тоска закрадывалась в душу. И тогда он со всей отчётливостью осознавал и адскую усталость, и разочарование в жизни, и нелепость войны.

– Господи, когда же наступит конец этому мракобесию?

А в ответ – ти-ши-на-а-а...

Утром немного распогодилось.

– Пацаны, я в деревню сгоняю. Хавки принесу.

– Серёга, давай я схожу, – подорвался с лежака Дамир.

– Нет, ты лучше Пульке набодяжь чего-нибудь пожрать.

К их блиндажу не так давно прибилась бездомная дворняга – голодная и тощая, как скелет.

– А тебе, Лёх, может витаминов каких раздобуду.

– Угу.

– Ладно, я пошёл.

Пулька увязалась было следом, но он так строго цыкнул на собаку, что пёс, поджавши хвост, остался у блиндажа. Радуюсь первому погожему дню, Сергей бодро зашагал в сторону деревни. Дойдя до лесополосы, оглянулся: собака, повернув морду в его сторону, застыла в нерешительности, будто сомневаясь – догнать или остаться на охране? Отчего-то защемило сердце:

– И чего я, дурак, псину с собой не взял? Ладно, в следующий раз. Пусть охраняет.

В соседней деревне он запасся провиантом – получил хлеб, консервы и шмат мяса. На окраине села нарвал для Лёшки полудиких яблок. Предвкушая знатный обед, Сергей поспешил обратно...

Его никто не ждал – снаряд попал точно в цель!

Ясное небо. Яркое солнце. Поваленное дерево недалеко от блиндажа. Три трупа, не считая собаки. Дамир! Марат! Лёха!

Он обмяк и повалился в бурую от крови траву:

– Я же говорил! Я предупреждал!

Все трое, пока он отсутствовал, вышли на открытое пространство, сели на поваленное дерево, достали телефоны. А почему бы нет? Погода хорошая, а тут ещё тоска по близким заела:

– Алло, Оля!

– Алло!

– Ал...

Так кончается жизнь: на последней ноте, на последнем «алло», на последнем вздохе... Она стояла и плакала вместе с ним – Пулька! Он хотел встать, но не смог – ноги отказали. Всю нижнюю часть тела словно сковало железным обручем. Дотянувшись кое-как до Дамира, навечно прикрыл глаза заочневшей рукой. Как там называются эти роллы? «Ёбидоёби»?.. Лезет же в голову всякая дрянь!.. Там его и подобрали, рядом со скулящей суккой, положили на носилки и повезли в Медчасть.

В этот раз он провалился в госпитале гораздо дольше, чем первый раз. Он не хотел ни с кем разговаривать. Только матери, чтоб не волновалась, отправлял короткие сообщения: всё норм, обещают дать отпуск, солдат спит – служба идёт. И всё в таком же духе. Единственное, на что хватило сил – связаться с «Ритуальными услугами», чтобы уточнить стоимость памятника. Получалось, скромно говоря, не дёшево. Но он обещал Дамиру... Хорошо, что Пульку забрали ребята из соседнего отряда! В тот страшный день она одна поделила с ним горе...

Ноги ещё плохо слушались Сергея, но он упрямо шагал по улице Чкалова в поисках дома под номером восемнадцать. Как его там встретят? Будут ли рады? Что он скажет жене и детям Дамира? Он на дух не выносит женские истерики! Надо подобрать какие-то нужные слова для Ольги. Нет, он не умеет! Вот Марат бы подобрал, а он – нет. На ватных ногах он подошёл к двери и нажал кнопку звонка:

– Здравствуйте!

Он вдруг утонул в её синих, как весеннее небо, глазах. Какая-то неведомая сладкая истома неожиданно растеклась по всему телу. Так не должно быть! Соберись, не раскисай! Будь мужиком!

Мальчишки – Иван и Имран – как два затравленных зверька, забились в угол дивана, зыря на него испуганными глазами, будто спрашивая:

– Как же так? Не уберёт нашего папку!

Он почувствовал себя виноватым и перед этой женщиной, сидящей напротив, и перед детьми Дамира. Безотцовщина... Сколько теперь таких?

– Я привёз личные вещи вашего мужа. А ещё я приехал, чтобы обсудить с вами эскиз памятника. Дамир был моим лучшим другом, я обещал.

Пока пили чай и вели разговор, глаза у Ольги оставались сухими. Она то и дело поправляла светлый локон, убирая его за ушко. Но он всё равно старался вырваться на свободу. У Сергея вдруг появилось ощущение, что он здесь когда-то бывал. Словно оказался в родном доме после долгого отсутствия. И эта Оля... Прости, Дамир! Это – свыше, и я ничего не могу с этим поделать! Он, не раз смотревший смерти в лицо, хоронивший товарищей по оружию, уставший от невыносимой ноши бытия, вдруг услышал первый робкий звоночек. Так весной, после суровых холодов, вдруг наступает оттепель и начинает звенеть капель... Сергей неожиданно заплакал – беззвучно и тихо.

Ольга обвила его шею руками, погладила по волосам:

– Поплачьте! Вам станет легче.

– Простите, Оля.

– Спасибо вам, Серёжа.

Он спешно попрощался и шагнул в ветреный ноябрь...

С этого дня звонки в город на Волге стали регулярными. Он потерял покой и сон, вздрагивая от каждого звонка. Душа Сергея потихоньку оттаивала.

Как-то так получилось, что вместе с Ольгой они пережили страшное отчаяние, общее горе и лютые морозы наступившей зимы. Они, как могли, отогревали друг друга, словно два подранка. Он боялся спугнуть своё счастье, боялся поверить в то, что это чувство – взаимно! Нет, так не бывает, так не должно быть! Эта женщина – жена друга... Но Дамира не вернуть! Кто ещё сможет позаботиться о его семье?.. Разве мало вокруг баб?.. Нет, ему никто не нужен, кроме Оли! Он искал её всю жизнь... Ты, Сергей, всё-таки подлец... Теперь он точно знал, что любовь существует... Прости, Дамир!

– Дядя Селёжа, ты когда приедешь? – голос младшего сына Имрана заметно дрожит.

– А что такое?

– У мамы скоро День рождения, – подал голос старший Иван.

– Ух ты! А когда?

– Тридцатого апреля!

– Молодцы, что сказали. Отпуск ещё не скоро, но я что-нибудь придумаю.

– Мы ждём!

Может ли быть на свете что-то важнее этих слов – «мы ждём тебя»? Между ними сказано гораздо большее: – Мы верим тебе, мы любим тебя, мы хотим быть с тобой!..

Тридцатого апреля он стоял перед знакомой дверью и трусил, как последний мальчишка! Город тонул в лёгкой дымке цветущей черёмухи. Переключка трамваев ласкала слух, как самая прекрасная музыка. Солнце оранжевым диском крутилось над головой. В облаке молодой, недавно проклюнувшейся листвы, утопали деревья.

Сейчас ничто не напоминало ему о той кровавой заварухе, из которой он недавно вырвался. Теперь он сильно хотел жить! Усталость куда-то исчезла, точно также, как исчезла апатия, чувство страха и разочарования. Всё, что бурлило, хлопотало и кипело внутри – рвалось наружу! Сейчас он скажет Оле всё, что давно хотел сказать. Он не струсит! Мужик он или нет?

Дверь открыл Имран:

– Пливет!

– А мама где?

Сергей забыл все слова, что приготовил заранее. Ладони сильно вспотели. Он не мог придумать, куда девать букет, когда Ольга, в платье в голубой горох, вышла ему навстречу. Он снова утонул в её глазах...

– Ну, ты чего, как неродной? Проходи!

– Это тебе, – он неуклюже сунул ей в руки огромный букет алых роз.

– Дядь Серёж, вы надолго? – спросил Иван.

– На два дня отпустили. Сегодня гуляем, а завтра есть дело.

– Какое дело?

– К отцу поедем, на кладбище...

С фотографии на памятнике, внимательно и серьёзно, на них смотрели знакомые глаза Дамира.

– Благослови нас, брат, так получилось. Знай, в обиду никому не дам!

Сергей приобнял Ольгу за плечи, взял Имрана за руку и повёл домой.

Вечером того же дня он позвонил матери:

– Слушай, тебе внуки нужны? В количестве двух штук?

– Ты шутишь?

– Нет, я серьёзно.

– Ты женился?

– Почти!

– Кто она?

– Приеду – расскажу.

– Наконец-то за ум взялся! То не было внуков, то сразу двое. Возвращайся скорее, сынок!

Он почувствовал, как грудь наполнилась тихой нечаянной радостью, и как велико его желание поделиться этим чувством с теми, кто дорог сердцу. Потому что нет ничего важнее, чем сделать счастливым того, кого любишь. Ведь всё на земле преходяще – распри, конфликты, войны. И только Любовь – вечна!

* *ЁбиДоёби* – золотой ролл, с золотом в 24 карата и чёрной икрой.

* *Кызым* – дочка с татарского.

Шеменёв Владимир Николаевич – родился в 1962 году в селе Чернава Липецкой области. Окончил Воронежский государственный технологический институт. Трудился в газетах «Молодой коммунар», «Вечерняя газета», «Труд»-Черноземье», «АиФ»-Черноземье». Публиковался на сайте «Православие.ги», в журнале «Подъём». Сейчас работает в Государственном архиве общественно-политической истории Воронежской области. Автор нескольких романов и повестей. Член СП России. Живёт в Воронеже.



Сон Афанасия Михайловича

*Рассказ основан на реальных событиях,
посвящаю моему деду Афанасию.*

Солнце не пекло – жарило.

Степь трещала под ногами, словно сдавленные кулаком сухари, лежащие стопкой на ладони. Щелкала Мать-земля сухими, ломкими, пустотелыми былинками под поступью идущих, сыпала в лицо трухой и мелким сором от перемолотой, вытопанной травы, поднятой сотнями уставших, налитых свинцом ног.

Через серую клубящуюся взвесь с трудом проглядывался размытый солнечный диск, плавающий в мутной пелене. Если бы Бог, наказавший египтян, послал им не десять, а одиннадцать казней, то одиннадцатой была бы пыль – всепроникающая зараза – появляющаяся ниоткуда и не исчезающая никуда. Похожая на серый абразивный порошок, она была везде: покрывала спины, плечи, скрипела на зубах, в патронных сумках, за воротничками и даже под петлицами. Стекала грязными, потными ручьями по давно небритым щекам. Шуршала песком в карманах, горчила на губах толченой полынью, перемолотой, перетоптанной. Горький вкус вызывал тошноту, а отсутствие воды жажду.

«Пить, пить, пить...», – стучало в сотне голов, уставших, измотанных боями и неопределённостью людей.

Двадцать девятый стрелковый полк, точнее то, что от него осталось шел вторые сутки стараясь оторваться от преследовавших их немцев. Накануне сподобил Господь вырваться из окружения. Да как говорят в народе: «Попали из огня да в полымя».

* * *

Последний противотанковый снаряд вложили немцу под башню, и так удачно, что в миг закончили войну танкисты вермахта. Закидали гранами мотоциклистов и кинулись в штыковую через баррикады, устроенные фрицами на берегу из брошенных грузовиков и телег. Чуть больше тысячи человек перешли заросшую камышом речку, поднялись на взгорок и замерли, одновременно слушая гул приближающихся «юнкерсов» и разглядывая уходящую вдаль степь.

Перед ними, до самого горизонта, на краю которого, в июньском мареве, висело одинокое маленькое облачко, лежала пожухлая, высушенная солнцем земля: ровная, бескрайняя, дышащая жаром и смертью.

Гул нарастал, самолеты приближались.

Красноармейцы сыпанули назад в камыши и замерли, пропуская звено бомбардировщиков. Юнкеры ушли на восток, оставив ощущение безысходности, не у всех – у некоторых. Одним из таких горе-бойцов и был Афанасий, многодетный мужик, лет сорока, призванный в армию весной 42-го.

Как и все, кто шел рядом, одет был Афанасий в гимнастерку, выгоревшую на солнце, на голове пилотка, на ногах ботинки армейские с обмотками до колен, за спиной трехлинейка, вещмешок с хабаром, в подсумке три запасными обоймы к «Мосинке» и лопатка саперная на ремне. В пыльном, нагрудном кармане книжка красноармейца, за спиной котелок и фляжка на поясе, вот и все из имущества.

Невысокий, жилистый, со скуластым лицом, испещренным вокруг рта ровными бороздами морщин. Нос у Афанасия был азиатский, прямой, узкий с широкими крыльями. Волосы мягкие, темные, а сам смуглый: вроде, как из татар в роду кто был. Под выступающим чуть вперед подбородком, торчали желваки, надувавшиеся в гневе, перед дракой или от обиды какой. У одних от опасности ноги дрожат, на других икота нападает, а у него желваки играли вместе с адреналином в крови. А как ударит кто первый – он ли кого или его кто – так и желваки сдувались, уступая место кулакам. И прозвище деревенское по двору было соответствующее – «голышок». Не от «голый», что значит бедный, а от гальки, голыша – камня речного, крепкого, монолитного. Таким камнями в старину мечи ковали. Вот и бил он забияк кулачищами так, что за раз перековывал драчунов. На фронт Афанасия сразу не взяли – бронь была, на дороге работал. А как перебили призванных в 41-м, так и до него очередь дошла.

* * *

Пока немец над головой летел, сидели в камышах, начсостав слушали: куда, зачем и ради чего идём. А как улетели фрицы, махнул комполка пистолетом, и побежали все гуртом на восток, держась поближе друг к дружке – это, чтобы веселей было. При появлении самолетов противника приказано было рассыпаться по степи, падать ниц и лежать, ожидая своей участи.

Первые десять верст еще бежали, потом пошли. Команду ускориться пропустили мимо ушей, сил уже не было. Вот и тащились по степи, несмотря на то, что в хвосте колонны, там, где должен быть арьергард, зачастила стрельба. За двадцать верст, что прошли от камышовой реки, семь раз рассыпались, пять раз падали. Три раза из авиационных пулеметов были обстреляны, два раза под бомбометание попали. Сколько не встало с земли, никто не считал. Живые поднимались, осматривались, перевязывались, подставляли плечи и спины раненым и шли дальше, качаясь от усталости.

И Афанасий шел вместе со всеми и носилки нес, и раненых на себе. Всякое в степи было в первый день. Потом хуже стало. Немцы отстали, перепоручив «заботу» о 29-м стрелковом собственной авиации. Вот и пошли бомбёжка за бомбёжкой.

* * *

Не сразу грусть одолела Афанасия, а как в степь вышли, и то, на второй день. После того, как пятнадцать раз зашли на них «юнкерсы», волна за волной, звено за звеном. Сыпали чугуном, поливали свинцом. После последнего налета осталось от полка чуть больше сотни бойцов. Построил командир полк, посчитал и заплакал. Хотел пистолет себе в рот сунуть и курок нажать, да политрук остановил.

– Не по-советски это товарищ полковник! Не наш это метод от ответственности уходить. Без вас нам никак нельзя, пропадем. Так, что давайте командуйте. Идти надо. Фронт-то вон куда укатился».

Кивнул комполка, соглашаясь, что не гоже мол коммунисту при беспартийных малодушествовать, тем более командиру. Вложил наган в кобуру, потер лоб и гаркнул, как на параде:

– Полк, слушай мою команду! Шагом марш! Песню запевай!

И затянул песню довоенную песенник-заводила, паренек рязанский, лет на пятнадцать младше Афанасия, да так затянул...

– В чистом поле, поле под раkitой,
Где клубится по ночам туман
Эх, там лежит, в земле зарытый,
Там схоронен Красный партизан^[1],

...что рухнула надежда у Афанасия на послевоенную жизнь, долгую и счастливую. Думки всякие в голову полезли. Мысли разные. А как убьют? А ведь убьют. Точно убьют. Если не сегодня, то завтра, наверняка. Вон сколько народу побило, и я сгину. Не о тех думал, что до камышовой речки не дошли, а о тех, кто в степи от бомбежек полег.

И ладно бы о себе переживал, так нет, о семье грустил. О жене любимой, о детях малых. Как они без него? Что с малышками? Сиротками останутся... Кому нужны? Да никому... А их у него семеро, мал мала меньше. Как жить-то будут? Как без отца-то? Без кормильца. На нём все держалось. В колхоз не пошел, на шахты подался, потом в Дорстрое работал. Так и жили, пока повестка не пришла.

И такая Афанасия взяла тоска – хоть волком вой.

Хотел слезу обронить, да пыль глаза забила. Хотел зареветь от отчаяния, да горло пересохло. Сцепил Афанасий зубы и застонал, будто зверь раненый. Желваками водит, зубами скрипит и, как будто даже холод могильный чуют начал, не от земли идущий, с неба, в унисон свисту падающих авиабомб. Грохот разрывов, пороховая гарь, раздирающая носоглотку, снопы земли, перемешанные с кровью и человеческими останками: все это встало, вздыбилось и заметалось перед глазами, сливаясь с криком комполка: «Вооздуух!»

Упал Афанасий на горячую землю, вжался в сухоцвет, смятый двумя сотнями мечущихся ног и уснул... Не от страха уснул, от усталости и физической, и душевной.

* * *

И видит он подсолнухов яснооких не поле засеянное, а океан колышущийся, уходящий за горизонт, и небо, как после дождя летнего, в «барашках» и жаворонках, и отца своего родного, умершего перед самой войной.

«Афонька, чего разлегся?»

«Страшно мне, батя».

«Отчего?»

«Убить могут».

«Могут... На то она и война».

«А дети как? Сиротки. Их у меня... сам знаешь».

«Не у тебя одного сироты останутся. Таких океан будет, как подсолнухов на этом поле. Понял?»

«Да».

«На все воля Божия. Кому быть убитым – убьют. Кому быть раненым – ранят. А кому не одной царапины, так и пройдет через всю войну – занозы не подцепив».

«А я?»

«Вставай».

«Так ведь убьют».

«Давай, давай! Вставай! Ишь заладил. – Подхватил Афоню за воротник гимнастерки и дернул, отрывая от земли, – Убьют его видите ли... Не убьют, не бойся. Ружье есть?».

«Винтовка, – Афанасий поднялся, показал отцу трёхлинейку, и при нём же лязгнул затвором, досылая патрон в патронник».

«Вот и давай, пали из неё по фрицам. Вон один, а вон второй, – ткнул пальцем в небо, кивнул на прощанье и добавил, как бы, между прочим, – Ну все, пора мне. Свидимся опосля, когда время придет». Развернулся отец к сыну спиной и пошел через поле, раздвигая натруженными, крестьянскими руками массивные, отяжелевшие от ядреных семян шляпки подсолнухов.

Ушел. И страх унёс.

* * *

– Михалыч, Михалыч, родной мой. Спас нас всех, спас! – Кричал комполка, пританцовывая. Сжал командир Афанасия за плечи и затряс от радости. – Улетели суки, испугались. Больше не сунутся. Дай поцелую. Ух, побриться бы тебе. – чмокнул да так, что степь загудела.

– Качай его братцы, – крикнул подскочивший политрук и пальнул в небо, чтобы все слышали.

Бойцы сбежались, обступили ошарашенного Афанасия, подхватили и давай мотать вверх-вниз, вверх-вниз.

– За что? – силился перекричать сто глоток Афанасий, но не мог. Смирился и только шептал. – За

что братцы? Не за что...

И только, когда поставили бойца Красной армии Афанасия Михайловича на трясущиеся от волнения ноги, тут только он заметил в своих руках винтовку, разогретый ствол и вчистую расстрелянный патронный подсумок.

– Два самолета завалил. Вот так снайпер... – бойцы хлопали Михалыча по плечу, обнимали, жали руку.

– Кто? Я? – Удивился Афанасий. Яркий, запоминающийся сон не хотел отпускать его, путал мысли, перемешивал миры между собой. Ему хотелось туда, где было тихо и радостно, но отец сказал: «Опосля», значит – опосля. Михалыч со смущением оглядел стоящих вокруг товарищей.

– Так ты, что ничего не помнишь? – комполка поднял руку, приглушая радостный гвалт бойцов.

– Нет... Спал я братцы, – Афанасий дернул плечами и развел руки, с недоумением осматривая однополчан. – Сон видел. Отца. Он у меня перед войной умер...

– Эх, братцы! – Политрук в сердцах, то ли от радости, то ли от огорчения махнул рукой перед собой и добавил, – Если бы мы все видели такие сны, как Афанасий, войну давно бы закончили.

[1] Михаил Исаковский «В чистом поле под ракетой».

Бондарева Мария Яковлевна – родилась 8 июля в г. Брянске. Журналист-печатник.

Поэт, новеллист, начинающий переводчик. Активный участник и мастер поэтических семинаров в г. Калуга, г. Сергиев Посад, г. Ярославль, г. Мурманск 2024 - 2025 г.г. Обучается онлайн в студии издательства «СТИХИ» на семинарах В. А. Куллэ. Победитель фестивалей-конкурсов «Берега дружбы», «ПРОгород», а также им. А.Л. Чижевского. Живёт в Брянске.



Лебеда

Баб Маша маленькая, легкая на ногу, сухонькая, что былинка.

– Шух-шух-шух, – деловито шуршит её клетчатый передник.

– Хыц, хыц, хыц, – шаркает по полу длинная нижняя юбка. Веник танцует в тонкой узловой руке. В дверь стучат. Это старый новый сосед, Колька, вернулся в отчий дом по скорбному поводу – вступать в наследство.

Баб Маша возникает в дверях почти мгновенно. Зиновьев обдает её бражным духом и запахом кислых щей.

– Здравсьте, Марь Пилиповна. У вас косы не найдется?

Баб Маша нехотя семенит к маленькому покосившемуся сарайчику. Ковыряет ключом в заржавленном навесном замке. Знаком подзывает к себе Кольку. Однако тот успеваеет устроиться на крыльце. Вытащив флягу из-за пазухи, Зиновьев делает большой глоток. В груди вдруг становится горестно и тоскливо.

– Никому мы не нужны, Марь Пилиповна, – внезапно Колька всхлипывает. Получается громко, совсем по-детски. – Возимся, как букашки, бегаем туда-сюда, а сверху и не видно. Вот попрем, попадём на небо, Он нас спросит, что, мол, полезного сотворили? А мы: ничего, Боженька, так, пили-

ели, землю топтали...

Баб Маша оставляет сарай открытым и возвращается к Зиновьеву. Садится рядом. Кладет свою теплую и сморщенную ладонь на широкое мужицкое плечо.

– Все мы, Коленька, его дети. Любит он нас. Вот ты, бывало, яблоки неспелые с дерева посшибаешь, нажрешься до чертиков, и полощет тебя, так уж и полощет. А мамка драть хочет, да жалеет, хворостина ей в руки не идёт. Так и у Боженьки в райском саду...

– Марь Пилиповна, а вы мамку молодую помните?

– Коль, а как же не помнить? В войну вместе лебеду рвали.

– И войну, значит, помните...

– А разве её забудешь?

Баб Маша горько усмехается. Пальцы быстро ныряют под ситцевую косынку. Но Колька успевает заметить глубокую отметину у самого виска.

– Марь Пилиповна, а это откуда?

Взгляд у нее мгновенно делается цепкий, горячий, как воздух в степи. Под папирусной кожей лба проступает упрямая венка.

Зиновьев достает портсигар, отворачивается и закуривает. Баб Машу захлестывают воспоминания.

Кольки ещё не было на свете. Его будущая мать, Дуня, рослая молодая женщина с водянисто-голубыми глазами и россыпью рыжих веснушек над верхней губой, охотно нянчилась с Машиними детьми, пока та бывала занята. Траву рвали по очереди. Лучше всего шли чернобыльник, полевой чеснок и купырь. Капризный молочай растирали между ладонями, чтобы немного ослабить горечь. Крапиву ошпаривали. Желудями не брезговали: толкли и вместо кофею заваривали. Сныть пускали на рахманные щи, лебеду – на лепешки.

Как-то раз Дуня сильно занедужила. Запасы заканчивались. Набрать дикоросов можно было за колхозным полем. Собравшись затемно, Маша вывела за околицу сонных детей. И они пошли.

Начинало светать. Надсадно гудели вражеские самолеты, испуганно жались к ногам голодные Динка с Федькой. Где-то там, правее, в густых и темных партизанских лесах, обитался Машин законный супруг Алексей. С начала войны и не виделись.

Чем дальше троица уходила от дома, тем отчетливее становился гул. Узкая розовая полоска уже выползла из-под линии горизонта и медленно расплывалась, превращаясь во влажное бесформенное пятно. Со всех сторон надвигалось что-то липкое, гадкое, неотвратимое. Вдруг воздух задрожал. Маша живо повалила детей в траву и бросилась сверху. Сомкнулся над нею зеленый купол, и в голову ударила темнота. Очнулась уже на другие сутки. Запекшаяся кровь коркой лежала на лице, мешала смотреть. Но Маша знала: вокруг – свои.

Воспоминания бесцеремонно прерывает свист косы. Это Колька решил опробовать инструмент прямо на месте.

– Ты, Коль, лебеду не коси. Она хорошая. Стойкая травка лебеда. Пацанва её ботинками потопчет,

иней осенний пощиплет, а она отойдет, духом воспрянет, и ну дальше расти. Как есть русский народ!

Колька опускает косу и бросает на хозяйку виноватый взгляд.

– Не буду, Марь Пилиповна. Вот те крест – не буду! Только репё снесу, вредное шибко. А завтра, может, и крыльцо покрашу.

Уходя, Колька весело машет хозяйке. Баб Маша идёт в дом. Наводит чай. Благостный жар исходит от печи, греет старые кости, вдоволь поит залу долгожданным теплом. Завтра приедут Динка с Федькой, привезут внуков. Надо дожить.

Лебеда

Помню, как очнулась в каком-то сарае. Голову повернуть могу, а встать – никак, одна нога перебита. Смотрю, рядом ещё двое, парень и девушка. Её с трудом узнала – лицо бледное, на губах кровь, один глаз заплыл. Катька, мы вместе воевать приехали. Ноги у неё целые, а бок мокрый, и солома с той стороны влажная, бурая. Дышит тяжело, но в сознании. А парень лежит с закрытыми глазами, живой или нет, непонятно. Голова перемотана. Потом слышу, застонал. Борется.

К вечеру приехали санитар и военный фельдшер. С носилками. Оказалось, я обессилела настолько, что и рук уже поднять не могу. Может, от кровопотери, а может, оттого что два дня не ела. Вспомнила, что припасы кончились все, даже сухари.

Меня и Катьку перетащили в кузов. Парень уже в чувство пришёл, доковылял сам и теперь полусидел у опоры. Где-то вдалеке прогремели выстрелы. Тронулись.

Лежу в санмашине, смотрю на небо сквозь прорехи в брезенте. Низкое, грозное. На душе тошно. Тело терзают ухабы да рытвины – дороги нынче совсем непролазные. Трясемся, наверное, километров пятнадцать.

Слабость жуткая. Нога ноет, будто её не раз перебили, а всю дорогу в упор расстреливают. Зубы стиснула, терплю. Катьке, наверно, ещё хуже.

В летучке тоже солома. Вспоминаю, как ехали в товарном составе. Полвагона девчонок, и мы с Катькой. Подстилка была чистая, свежая. Домом пахла. Деревней. Родным колхозом. Как война пришла, так там работать некому стало, все на фронт ушли. И нам надо! Думали, будем героями. Погоним врага до самого Берлина – нечего на Москву засматриваться!

Научились стрелять, бросать гранаты, маскироваться. Приноровились портянки крутить, раненых перевязывать (пока ненастоящих, конечно). Выходили в поле – глаза горели мстью. У кого отец погиб, у кого брат пропал без вести. Думали, убивать легко и приятно будет.

Курок-то спустить – дело нехитрое. Попробуй ещё момента дождись. В глазах к вечеру двоится, тело деревенеет, слёзы текут, руки дрожат. Летом и осенью ещё ладно, если повезёт, на крыше или дереве схорониться можно. Зимой куда тяжелее. Брюки колом. Снег под тобой тает, всё равно что в

луже лежишь. А обнаружить себя нельзя. Метров пятьсот, и уже немцы, даже разговоры разобрать можно.

Первый раз, конечно, выстрелить трудно. Пальцы не слушаются, зубы стучат, но не от холода, а от осознания того, что чужую жизнь забираешь. Он-то, конечно, фриц, но вроде и человек. Вдруг у него тоже сестры младшие, мама старенькая. Потом насмотришься на девчонок в медсанбате: кому туловище искромсало, кому руку оторвало, кому глаза выжгло. И все как одна молят: «Убейте, родненькие, только быстро. Зачем нам такими жить?». Вернёшься на передовую, прицелишься и стреляешь. Немец, как тряпичная кукла, глухо падает. Щёлк-щёлк-щёлк. Это за наших красавиц, за юность загубленную!

* * *

Снится, что иду по нашему полю, а оно сплошь трупами усеяно – нашими и вражескими. Наползают друг на друга, как огурцы в бочке. Такие же неровные, скользкие. Зеленоватые. Вокруг трещит, гремит, сверкает. А я маленькая и бабушку свою ищу. Она во время второй бомбежки погибла.

Уже почти половину поля прошла и вижу, как на меня огромный черный танк катится. Бабушка возникает из ниоткуда, заслоняет собой, исчезает под адскими гусеницами.

– Не-е-т, – кричу. Просыпаюсь в холодном поту, хватаю пальто и к двери. Война в моем сердце продолжается.

Муж нагоняет, заключает в объятия.

– Тихо, милая. Это сон.

Смотрю на него диким немигающим взглядом. Он укладывает меня в постель.

– Спи. Нет войны, кончилась.

Ему видней. Он тоже там был, в кузове старой летучки. Контузия, слышит плохо. Но говорит тихо. Привык, чтобы не пугать дочерей. А я только учусь жить заново. Носить юбки – не те, что получаются из вещмешков, а лёгкие и изящные. Вставать на каблучок. Два года в тяжелых сапогах почти превратили меня в медведицу. Походка неуклюжая, косолапая. Но никто не дразнится, не смеется. Катька-хохотушка бы не сдержалась, прыснула. Да нет её больше.

* * *

Помню, когда я вернулась, мама упала мне в ноги. Обнимала их и выла. Увидела жалкий чубчик, тощую грязную шею, мужскую гимнастерку. Ордена на груди. Завыла ещё сильнее. Коса у меня была толщиной в три пальца – отрезала. А Каткина мама молчала и смотрела перед собой. Я протянула ей образок – маленький, потемневший. Она узнала, спрятала за пазуху. Назавтра повесилась в сарае. Катка, её единственный ребёнок, не должна была идти на фронт.

Максиков Николай Алексеевич (Николай Максиков) – родился в хуторе Морец Еланского р-на Волгоградской области. Кадровый офицер. После выхода на пенсию прошёл путь на производстве до директора завода. Публиковался в известных литературных журналах России и Германии. Победитель нескольких российских конкурсов. Издано около 20 книг прозы и поэзии. Действительный член МСП «Новый современник». Живёт в г. Камышин Волгоградской области.



Русские не сдаются

День угасал на глазах. Окровавленный диск уставшего летнего солнца поспешно прятался за потемневшую полосу горизонта, оставляя в небе густой багровый след. Завтра, судя по всему, будет ветрено. Это хорошо: движение воздушных масс рано или поздно пригонит дождевые облака,

и долгожданная живительная влага прольётся на изнывающую от зноя и смрада землю.

Этот опорник группа старшего лейтенанта «Бэры» брала неделю. Позиции врага предварительно проутюжила арта, подкорректировала в нашу пользу наметившуюся было ротацию противника наша беспилотная авиация. Настало время поработать людям. Только как? Враг очень грамотно построил оборону: с единственного холма во все стороны открывалась великолепная панорама голой равнины. И без того редкие лесополки, выкошенные едва ли не под корень безжалостным обоюдным огнём, были слабым утешением и особого оптимизма при планировании операции не внушали, но другого прикрытия не было. Ночью, бесшумно передвигаясь по одному, шестеро смельчаков устремились навстречу неизвестности. Антиснаряды покрывала, личное оружие, боезапас, немного воды и еды – ничего лишнего. Окопались, рассредоточившись по неглубокой ложине, замаскировали укрытия травой. День продержались, не высовывая кончика носа. Следующей ночью продолжили движение до очередного подходящего схрона. Потом ещё и ещё.

Последний рывок решено было сделать за два часа до рассвета. «Бэра» по радиации произнёс по-английски условный код. Через некоторое время вокруг холма задрожала земля – это постарались миномётчики. Если подходы к укрепу заминированы, то эта встряска будет для группы кстати. Едва стихли разрывы, старлей подал знак: пора! «Поло» и «Чума» взяли на себя левый фланг укрепления. «Айдар» и «Тубо» – правый. Командир группы и «Шаман» пошли в лоб.

Беспорядочная автоматная стрельба всполошила опорный пункт, сея в рядах неприятеля панику. Обороняющихся было человек десять, не больше, но настроены они были весьма воинственно. В ход пошли гранаты, потом дошло и до рукопашной. Наконец, всё затихло.

– Смотри, командир, кто тут против нас оборону держал, – «Айдар» протягивал срезанный ножом шеврон польского наёмника. – То я за ним гонял минут пятнадцать по траншеям, то он за мной, когда у меня патроны кончились. Хорошо, что хохол под ногами попался подходящий – пару гранат у него позаимствовал.

– Молодец, «Айдар». Что у нас?

– Двое «двести». «Поло» на «лепестке» подорвался, бандеры добились потом его. А «Чуму» у блиндажа завалили. Там такой бункер, командир!

– наших перенести в укрытие. Надо собрать боеприпасы, продукты. Ну и готовиться к встрече гостей. Думаю, её нам они не задержат. Где этот бункер?

– Вон там, ближе к левому флангу.

Бункер оказался полностью врытым в землю складом, напичканном оружием и боеприпасами. Стены из железобетонных блоков прикрывали железобетонные плиты. Над плитами полуметровым слоем навален грунт. Крепкое сооружение. «Бэра», осмотрев прилегающую местность, скомандовал:

– «Тубо», «Шаман», осмотрите подбитую технику. Если найдёте домкрат – тащите сюда.

– Что задумал, командир? – поинтересовался «Айдар».

– Да есть идеяка.

Группе повезло: склад вмещал не только запасы вооружения, но и консервы, бутилированную воду, медикаменты. Послышались одиночные выстрелы, потом что-то громыкнуло. В траншею ввалился запыхавшийся «Шаман».

– А где «Тубо»? – заволновался «Бэра».

– Да он там, товарищ командир, птичку сбивает. А я домкраты принёс. Целых два!

Показался радостный «Тубо»:

– Однако, я тоже хорошую вещь нашёл! Винтовка снайперская. Патронов – целая коробка! Всё, один дрон отлетелся, командир.

– Очень хорошо. Ребята, предлагаю обустроиваться в бункере. Отсюда нас так просто не выбьют. Смотрите, тут даже дрон к входу не подлетит – лабиринт как у Минотавра. Дверь толстенная.

– А тут же ни окон, ни бойниц, командир. Как же из этого бункера обороняться? – «Айдар» изумлённо округлил слегка раскосые глаза.

– Вот в этом-то нам домкраты и помогут. Предлагаю приподнять плиты сантиметров на тридцать, получится хорошая амбразура. При необходимости её можно и обратно прикрыть. Брёвна, думаю, найдём?

– Найдём! Откуда такое дело знаешь? – уважительно заулыбался «Тубо».

– Да было дело, – улыбнулся «Бэра», – есть опыт.

– А у меня до войны совсем другой опыт был. Оленей разводил, на охоту ходил, детей растил.

– Много у тебя детей?

– Нет, не много пока. У нас женщина пятерых родить должна, тогда на том свете она в лучший мир попадёт. А у нас только трое пока: Алаш-оол, Дамдын-оол и Ханды.

– Ладно, «Тубо», потом поговорим. Надо обустроиться, перекусить что-нибудь. Потом обязательно поговорим.

Пока «Айдар», тщательно маскируясь, наблюдал за обстановкой, группа оборудовала ДОТ. Над укрепом жужжали свои и чужие дроны, высматривая подходящие цели. Солнце тянулось к зениту, наполняя округу невыносимым зноем и тошнотворным запахом гниющих человеческих тел. Шальный ветер, порой лихо завихряясь на пыльных бугорках, трепал взлохмаченные вихры травы, покрывающей склон, пробовал посвистеть в пулемётном стволе, выставленном из бойницы, сбегал куда-то далеко-далеко вниз, даря крошечному бастиону на мгновение непривычное спокойствие.

– Дежури по очереди. Меняемся каждые два часа. Я начну первым. Предлагаю свободным от дежурства поспать, – указания «Бэры» были лаконичны и понятны.

– Письмо решил написать, командир? Эх, нет здесь никакого почтальона.

– Спи, «Шаман». Это я так, мысли свои хочу записать. Пришло вот на ум.

Бойцы улеглись и вскоре дружно засопели, погрузившись в тревожные сны. На обрывке обёрточной бумаги «Бэра» что-то черкал огрызком карандаша, не забывая посматривать в щель бойницы. Иногда он довольно улыбался, словно радуясь какой-то необыкновенной удаче, затем вдруг хмурил брови, недовольно мотая головой. Перечитав несколько раз написанный текст, что-то поправив в нём, «Бэра» свернул листок пополам и подложил под коробку с патронами. «Прочту потом

ребятам», – улыбаясь, подумал про себя командир.

ВСУшники как будто забыли о существовании своего, теперь уже потерянного, передового бастиона. Тишина кругом. Вот уже и «Айдар» отдежурил, сменив «Бэру». До хруста костей потягиваясь, к амбразуре бесшумно скользнул на смену «Шаман», освобождая товарищу спальное место. Вот уже и «Тубо» скоро надо будить, но вдруг зоркий глаз эвенка что-то заметил: строгие чёрные брови насупились над узкой переносицей, гневно зашевелились ноздри, а в узких глазах блеснул огонёк тревоги:

– Подъём, ребята! Едут!

Бойцы повскакивали, прильнув к щели. Примерно в двух километрах от холма пылили по дороге три квадроцикла. Враг стремительно приближался к позициям.

– Приготовиться к бою! «Тубо», что ты там в оптику свою видишь?

– Вижу, командир, на каждом квадрикe по двое.

– Понятно. Шестерых встретим. Эй, смотри-ка! – командир обрадовано указал куда-то вдаль. Там, окутанный клубами огня и дыма, подлетел на воздух первый мотоциклет. – На свою мину наехал?

– Это наш дрон его клюнул. Остальные спешили. Бегут в нашу сторону.

– Наблюдаем за каждым очень внимательно. И вокруг – тоже. Подпускаем на триста метров. Огонь открываем без команды.

Четвёрка бесстрашно приближалась к холму. Возможно, никто из врагов не подозревал о произошедших изменениях на этом участке, поэтому вели себя они крайне беспечно.

– Ба-ах! – винтовка «Тубо» разорвала покров напряжённой тишины. – Ба-х! – повторила она снова. Её поддержали автоматные очереди. Четыре обездвиженных тела в камуфляже уткнулись в раскалённую степь, не успев сделать ни единого выстрела.

– Ротация не состоялась, – мрачно пошутил «Бэра».

– Хорошее ружьишко, командир! – погладил приклад винтовки «Тубо». – Двое на мой счёт пошли.

– Заметил. Думал, нам никого не оставишь. Короче, пока всё идёт гладко. Надо своим доложить, – далее в эфир опять пошёл набор слов на английском.

– Командир, а зачем так усложнять? «Тубо» или «Шаман» по-своему могли бы сказать, никто их в эфире не поймёт.

– Так надо, чтобы врага не насторожить. Вот, если что со мной – пусть говорят, «Айдар». Даже ты по-татарски можешь добавить.

Ночь прошла спокойно. Только порывы ветра усилились до штормовых. Пыль попадала в глаза наблюдателям, те чертыхались, проклиная непогоду. Но зато ещё с вечера потянулись тучки, постепенно обволакивая плотной пеленой небесную сферу. Заметно спала жара. Природа с нетерпением ожидала приближение дождя. Он пошёл на рассвете, поначалу робко и неуверенно заморосив, словно совершенно позабыв предписанное ему ремесло. Затем, осмелев, застучал крупными прозрачными каплями по пропылённой траве, смывая с неё гарь и кровь недавних

сражений. За серой стеной дождя показались два украинских БМП. Приблизившись к холму примерно на шестьсот метров, машины открыли огонь. Под его прикрытием, растянувшись широкой цепью, к позициям рванулись солдаты. «Бэра» насчитал около взвода.

– Ну, что, «Тубо», готовь своё «ружьёшко», погнали наши городских!

Ударил пулемёт «Айдара». Зашёлкал затвор снайперки. «Шаман» стрелял короткими очередями, делая паузы, выбирая цель понадёжнее. Цель наступающих заметно поредела.

– Ребятки, приготовьтесь, я домкратики приопущу. Того и гляди нас накроют! – предупредил бойцов командир, спускаясь на пол. Плиты перекрытия медленно опустились, суживая бойницу. – Так пойдёт?

– Отлично! – согласно кивнул, выпуская очередь, «Айдар».

– Седьмой! – довольный «Тубо» протёр платочком окуляр винтовки.

Видимо, реально оценив свои возможности, противник решил отступить. Десяток уцелевших солдат поспешили назад под защиту брони.

– Пользуются нелётной погодой. Я думал, прохладу принесло, а денёк-то обещает быть жарким! – «Бэра» ободряюще оглядел группу. – Все целы?

– Целы. Они толком не поняли, откуда мы бьём. А я, кажется, понял, что это за бункер. На силосную яму похоже. Только она раньше проходная была, без крыши. Потом уже укры её накрыли и землёй обсыпали. Тут же рядом хуторок был.

– «Айдар», ты же в Казани живёшь! Откуда про силосную яму знаешь? – удивился «Тубо».

– А при чём тут Казань? Что из того, что, например, я – москвич? Двадцать лет на пузе ползаю, чему тут удивляться? – «Бэра» махнул рукой: – Война всему научит. А я всё приноживаюсь, не пойму, чем так здесь припахивает. Точно, запах забродивших измельчённых кукурузных стеблей. Коровки после такого угощения молока дают по двойной норме!

– Молочка бы я попил сейчас! – мечтательно улыбнулся «Тубо».

– А я по кумысу истосковался! – хмыкнул «Айдар». – Пробовал из вас кто-нибудь?

– Будет нам сейчас и кумыс, и кофе с чаем! Приготовиться к бою! – «Бэра» сосредоточенно прильнул к биноклю. Впереди замаячил танк и те же два БМП. – Сейчас начнётся.

Танк прицельно долбил по холму, пока две другие машины продолжали приближаться по уже изрядно раскисшей полевой дороге к нашим позициям. Десанта в этот раз не было.

– Командир, а давай со «Страйкера» ихнего шмальнём. Чуть крышу приподними, мы его установим по-быстрому. Кумулятивки к нему есть.

– Давай, «Айдар», только скоренько.

Очереди гранатомёта оглушительно ударили сначала в одну БМП, затем в другую. Из горящих машин в панике выпрыгнули серо-зелёные фигурки людей. Стена дыма заслонила стоящий вдалеке танк противника. Щель бойницы вновь сузилась. «Тубо» за это время успел уложить ещё троих.

ВСУшники не беспокоили группу до самого вечера. Пойдут ли они в атаку ночью? Запросто! Ждать ли помощи от своих? Живая сила тут не нужна. Огневую поддержку комбат обещал обеспечить. Группа справится. Пора бы и прекратиться дождю, «птички» наши пусть понаблюдают за врагом, не фик по домашним гнёздам отсиживаться.

– «Тубо»! Мы так с тобой и не договорили. Расскажи о себе.

– А что говорить, командир? Это я тут – «Тубо». А дома меня Анчы-оол называют.

– А что это означает?

– Не могу объяснить. В этом имени каждая буква на своём месте стоит и что-то обозначает. Например, первая буква в имени – это то, что мне в жизни предначертано, главная цель. А последняя буква – моя слабая сторона.

– Ну-ка, раскрой свои тайны!

– Э-э, какие тайны? А – это значит, сильным я должен быть. А слабость моя в том, что изворачиваться, хитрить не умею.

– Интересно. Красиво у вас?

– Что ты! Сказка! Горы, реки, луга – красота какая! Я оленей разводил, овец, коз. Восемь лошадей у нас. Вот закончим воевать, приезжай, командир. Я тебе всё-всё покажу!

– И ко мне приезжай, командир! – оживился «Шаман». – Меня дома называют Бэркэ. Кругом сосны шумят, тайга, воздух очень хороший. Настоящие олени, не обижайся, «Тубо», у нас. Очень хорошие олени, выносливые. Волки вот их только достают. Стреляем волка. Чумы красивые строим. Шкуры на них крепкие, тёплые, никакой мороз не страшен. Конечно, не такая жизнь, как в городе. Мобильников у нас нет. Телевизоров тоже почти нет. Банков нет! Водка есть. Много водки есть. Пьют её крепко. Вот меня отец и отправил на войну: иди, человеком будешь. Денег заработаешь. Уедем на Большую землю, там дом купим, жить будем по-другому.

– Как же так, Бэркэ? Я приеду, а ты с отцом в город пойдешь.

– Нет, командир! Тебя ждать буду! На охоту пойдём, тайменя ловить будем. На оленях покатаемся! Э-э, олень – это наш бог, командир. Без оленя нет жизни эвенкам: кормит, поит, лечит – вот что такое олень!

– У «Тубо» почитают Будду, а у вас?

– У нас есть духи-хозяева, мы им поклоняемся. Шаман с ними общается. Вон там, где Полярная звезда, там вход в верхний дом духов. Они самые главные. Средний дом духов на земле, рядом с нами. Пропасти в горах видел, командир? Это вход в нижний дом духов. Туда уходят на покой души эвенков. Шаман может переходить из одного дома в другой, больше никто не может. Я не шаман, просто позывной такой у меня. Но я хотел бы стать шаманом.

– Бэркэ, «Айдар» нас слушает и думает, небось: во, собрал же Всевышний кого ни попадая под одну крышу!

– Нет, командир, я так не скажу. Бог один у всех. Называем его мы все по-разному, вот и всё. А я вас всех в Казань приглашаю. Тебе, Бэркэ, дом подберём, у нас жить будешь. Волга ничуть не хуже

твоего Енисея. Вот только бы войну эту проклятую пережить. Меня на родине называют Наиль.

– А я – Григорий Борисов. В юности кличку уличную вспомнил, вот и позывной взял – «Бэра». Москвич по рождению. А по жизни... Где она меня только не носила. Это уже здесь, на Донбассе, офицером согласился стать. Высшее образование и всё такое, уговорили. А так-то простым контрактником ещё с Чеченской. Всё воюю и воюю. Ни детей, ни плетей. Вольный ветер.

– А семья, родители?

– Родителей схоронил, сестра в Германии. Вышла замуж за русского немца и укатила под Гамбург. Ничего о ней не знаю.

– Командир! Дождь перестал. Смотри, опять пошли.

– Да откуда же они столько сил берут? Роты полторы и танк. Так... Вон ещё танк... И БМПэшка! – не отрываясь от бинокля, проговорил «Бэра». – Бой будет серьёзный. «Айдар» и «Тубо», остаётесь здесь. Мы с «Шаманом» перейдём в траншею, поработаем по пехоте АГээСами. Отстреляемся, придём к вам. Если танки приблизятся, испробуем «Панцерфауст», не пропадать же добру? Начинайте без команды.

«Бэра» вздрогнул, услышав затараторивший пулемёт. «Тубо» пока молчал. «Ждём!» – жестами показал «Шаману» командир. Защёлкала снайперка. Выглянул за бруствер, оценил обстановку. И пять жестами: «Огонь!»

– Ай, молодец! – ликовал «Айдар», подбадривая сосредоточенного «Тубо». Тот молчал, лишь бормоча про себя что-то после каждого выстрела своей винтовки. Голая равнина не давала возможности укрыться, нападающие были как на ладони и несли потери. Огонь из танковых орудий поутих – видимо, в дело вступили «птички», и враг предпочёл отступить.

В бункер ввалился «Шаман», волоком втаскивая раненого «Бэру». У командира из-под шлема текла кровь, левая рука болталась плетью.

– Что с ним? – сбежались бойцы. – Давай бинты! Я пока «Промедол» вколю!

Бой разгорелся с новой силой. Противник, словно саранча, то накатывал лавиной, то отступал, усеивая поля трупами. Стало смеркаться.

Старший лейтенант Борисов лежал на полу без сознания. Он не слышал, о чём говорят его подчинённые, не видел в прорехе амбразуры закатное небо, не мог разобрать, о чём бормочет склонившийся над ним «Шаман». «Бэра», находясь между жизнью и смертью, ничего не чувствовал, ни о чём не думал. Команду отдал «Айдар»:

– Ребята! У нас кончается боезапас. Ещё пару атак мы продержимся, а как быть дальше – я не знаю. Предлагаю тебе, «Тубо», выйти в эфир и открытым текстом запросить помощь. У тебя же земляки там есть?

– Есть! Я понял. Я по-русски попрошу, чтобы позвали Шойдака или Конгара, а на тувинском им всё объясню. Так?

– Так, Анчы-оол, так.

В бункере было тихо. «Айдар» заметил помятый листок бумаги на ящике из-под патронов. Вспомнил: командир что-то писал. Может, задание какое-то на крайний случай? Развернул, попробовал прочитать, повернув текст к гаснущему свету.

– Ребята! А командир-то у нас поэт настоящий! Кто бы мог подумать! Вы только посмотрите, что он написал!

«Шаман» и «Тубо» прильнули к нему, слушая, как чуть ли не по слогам, дрожащим голосом читает Наиль неровным почерком написанный текст:

Русские не сдаются

Рубеж под сломанной ракетой
Врагу который день не сдан.
Как символ жизни недопитой
Ополовиненный стакан.
Коптит землянку папироска,
А мины верить не хотят,
Что под накатом только горстка
Войной измученных ребят.
Уже почти пусты разгрузки,
И не мешало бы врача,
Но не пристало тем, кто русский,
Сдаваться подлым палачам.
Расчёт геройский легендарен,
В нём дружбой объединены
Эвенк, тувинец и татарин –
России верные сыны.
Все одного возносят бога,
Врастая намертво в редут,
И верят, что близка подмога –
У нас своих не предают.
Тропой Стрельца и двух Медведиц
Скитаясь в облике чужом,
Трясёт клинком кровавым месяц
Над непокорным блиндажом.

– Ждите эвакуацию! Помощь будет в течение двух часов! – тувинец Шойдак прохрипел в эфире, зная, что рядовой Анчы-оол его хорошо слышит и всё понимает.

Есина Наталья Геннадьевна - родилась 17 ноября в Рязани. Окончила с отличием Рязанское музыкальное училище. Работала педагогом и концертмейстером. Прозаик. Лауреат литературных премий и конкурсов. Автор нескольких книг. Член Московской областной организации Союза писателей России. Живёт в г. Щёлково Московской области.



Письмо матери

Встать над болью своей...

Здравствуй, сынок!

По прошествии двух с половиной лет решила написать тебе. Знаю, ты никогда не получишь это письмо, но для меня оно – попытка заменить неистребимое желание поговорить с тобой.

Сегодня проснулась посреди ночи. Сквозь приоткрытую дверь комнаты слышно, как тихонечко дребезжит на кухне холодильник. Настенные часы монотонным тиканьем отмеряют время.

Внезапной пульсирующей болью у правого виска отозвалось осознание того, с какой бездушной неотвратимостью оно начинает стирать в моей памяти дорогие сердцу детали. Закрываю глаза и силось ухватиться за любую из них.

...Меня только что привезли из родовой. Немного потрясывает. Голова гудит – на схватках вместе с пожилой акушеркой песни пели.

– О-о-он, – вдох.

– Сказа-а-ал, – еще один.

– Пое-е-ехали! – самолетным гулом выдыхаем на низкой ноте каждое слово.

Акушерка смеется, не иначе как летчик-космонавт рождается.

«А что? – успеваю подумать. – Ведь ты же у меня – апрельский!»

Соседки по палате спят. В приоткрытую форточку смело врывается терпкий запах недавно распустившейся и омытой дождем листвы. Внезапно наваливается сонливость, но я борюсь с ней: хочется продлить тихую радость.

Сын у меня...

Сердце стучит в груди громко-громко.

Сы-ы-ын родился!

Ты всегда знал, что назвали тебя в честь прадеда. Он у нас в разведке служил. Доблестный был солдат. С тяжелым ранением домой вернулся и всю оставшуюся жизнь не любил рассказывать о войне.

Помнишь, сынок, ты частенько просил его фотографию в парадной форме, подолгу рассматривал, про ордена и медали спрашивал: как называются, за что такие дают? Я тогда про себя еще отметила, что военная тема нашла в тебе отклик с самого раннего детства.

А недавно вот мы с отцом вспоминали, как ты за праздничным застольем в честь Дня Победы с горечью сказал, что не понимаешь, как можно название судьбоносной для всего мира войны, унесшей миллионы жизней, сокращать до пренебрежительной аббревиатуры? Неужели так сложно написать в статье или в новостной ленте не «ВОВ», а «Великая Отечественная война»? Именно так, по штришку, и стирается историческая память.

Я тогда еще подумала, что нелегко должно быть живется человеку, замечающему такие нюансы, мимо которых многие равнодушно проходят. Захотелось как-то поддержать, приободрить тебя. Попросила не рвать душу, побережь себя.

Твой ответ поразил меня.

– Если все будут беречь себя, мама, кто тогда будет беречь нашу страну? – И неожиданно добавил: – Прав был маршал Жуков, считавший, что Европа никогда не простит нам свое освобождение от фашизма.

Потом пошел на кухню и долго курил. Из темноты коридора я всматривалась в твое усталое лицо. И вдруг накрыло странное ощущение, словно прадед твой нам послание передал, вложив такие мысли в твою голову. Скажешь, не может быть такого? Но, если представить, что мир наш не только телесный, но есть еще и то, что человеческим взглядом не ухватить, во многие необъяснимые вещи поверишь.

Я вот, например, с самого твоего рождения твердо знала, что станешь военным. Еще младенцем спал и кушал строго по часам, хоть я и не приучала к этому. Соседи по коммуналке смеялись, что

по тебе можно часы сверять: утром ровно без пяти шесть будил всех требовательным плачем.

Вообще, ты у меня всегда был собранным, ответственным, сынок. И здоровьем отличался отменным. Так вот навскидку и не вспомню, чтобы особо болел. Пожалуй, пару раз температурил сильно. Один – когда мы с Дальнего Востока в Волгодонск переехали. Врач после осмотра сказал, что, скорее всего, иммунитет ослаб в связи с переменой места жительства.

Ты в тот год во второй класс переходил. Так все лето дома и просидел. Именно тогда страстно полюбил чтение. Книги вообще окружали тебя с самого раннего детства. Первое чтение – это было мое тебе чтение. О, ты был очень внимательным слушателем! Принимал многие вещи так глубоко, что они часто становились установками твоей жизни.

Вспомнила сейчас весьма забавный случай! Твой детсадовский дружок пожадничал, не захотел поделиться с товарищем цветными карандашами, и ты, практически слово в слово, изложил ему рассказ Валентины Осеевой «Синие листья», который накануне я несколько раз прочла тебе по твоей просьбе.

Когда я забирала тебя после прогулки, молодая воспитательница благоговейно доложила:

– У вашего сына просто феноменальная память! А как строго он выговаривал Коле, что «надо так давать, чтобы можно было взять». Просто как моя первая учительница!

– И Коля, наш непоседливый Коля, – в свою очередь никак не могла успокоиться нянечка, – потом до самого ужина тихонько сидел на стуле, уставившись на коробку с карандашами, и вздыхал.

...Знаешь, сынок, в дальней комнате над письменным столом до сих пор на полке стоят твои любимые книги. На днях перечитывала «Маленького принца»[1].

Помнишь, как ты попросил меня нарисовать барашка? И очень расстроился, что я не смогла. Но выход нашелся: у наших соседей на телевизоре стоял небольшой макет самолета. И мне пришлось в голову нарисовать его и сказать, что твой барашек летит в этом самолете.

Ты потом весь вечер радостно выскакивал в коридор, показывал приходившим с работы соседям мои добросовестные каракули и рассказывал про своего таинственного барашка, летящего в самолете. Все, конечно, удивлялись, потому что никто его на рисунке не видел, и это их удивление веселило тебя еще больше.

После того случая ты как-то резко стал интересоваться самолетами. Собрал целую коллекцию. Каких только моделей у тебя не было! И про каждую мог подробно рассказать. Иногда мы вместе пробовали отгадать, в каком самолете сегодня путешествует наш с тобой барашек, и почему именно в нем?

А ещё я часто вспоминаю переполох, который устроил залетевший к нам в окно соседский попугай Иннокентий. Он тогда с перепугу посбивал с комода все модели. Ох, и журил ты его за нарушение дисциплины! После того, как мы изловили бедолагу и отнесли хозяину, ты расставил свои самолеты по местам, а одному ловко починил сломанное при падении крыло.

А каким аккуратистом ты всегда был! Чего только стоил девиз, взятый из твоей любимой книжки. Ты старательно вывел его крупными печатными буквами на склеенных тетрадных листах.

«Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету»[2].

Обычно проснувшись за полчаса до будильника, ты бежал на кухню, где я готовила завтрак, и спрашивал:

– Чем сегодня помочь тебе, мамочка, чтобы наша планета была в порядке?

Помню, как в твой последний приезд домой ты решил перечитать «Маленького принца». А когда я поинтересовалась, что сейчас привлекло тебя в этой повести, выразил согласие с чьим-то высказыванием, что баобабы, заразившие своими злыми семенами планету Маленького принца, – это символ фашизма. И очень важно каждому из нас внимательно, а, главное – вовремя заняться их прополкой, чтобы мир не покрылся этой проказой.

...А еще ты очень любил провожать солнце. Я хорошо помню тот вечер. Мы пошли на окраину города смотреть закат. Ты с ловкостью, которой обладают только мальчишки, забрался на поросший редкими кустами песчаный холм и долго стоял, запрокинув голову. Потом повернулся ко мне и звонко крикнул:

– Когда-нибудь я тоже буду летать высоко-высоко в небе!

Сейчас вот вспомнила еще такой момент. Мы переезжали из коммуналки в новую квартиру. Я разбирала антресоль и нашла толстую общую тетрадь в коленкоровом переплете. На первом развороте твоим аккуратным почерком написано: «Нужно читать и уважать только те книги, которые учат понимать смысл жизни, понимать желания людей и истинные мотивы их поступков. Максим Горький».

Листаю страницы, читаю одну за другой мысли великих людей, которые ты перенес на бумагу, и вдруг натыкаюсь на письмо... мне?

«Мама, я давно уже солдат. А ты все пишешь, что я – мальчик, что зря так тороплюсь, что у меня все еще впереди... Извини, мама, но я не согласен с тобой! Ведь человеку так мало отпущено. Даже если он проживет сто лет. А сколько мне суждено прожить, неизвестно. Поэтому и тороплюсь. Помнишь, как писал Лермонтов, когда ему было четырнадцать лет? “Я должен действовать, я б каждый день бессмертным сделать бы желал, как тень великого героя, и понять я не могу, что значит отдыхать. Всегда кипит и зреет что-нибудь в душе моей. Желанье иль тоска терзает беспрестанно эту грудь. Мне жизнь кажется все как-то коротка. И все боюсь, что не успею я свершить чего-то!”»[3]

Несколько дней ходила сама не своя, строя догадки. Что за странный ответ на письмо, которое я тебе не писала? А еще не могла понять, почему ты называешь себя «солдатом»? Какой из тебя солдат, сынок? Тебе же недавно пятнадцать исполнилось!

Нет, я, конечно, знала, что ты месяц назад записался в ДОСААФ на летное отделение. Мы с твоим отчимом тебя поддержали, только попросили, чтобы это не отразилось на учебе в школе. А ты серьезно так ответил, что хоть как болтуня Лидочка и занят множеством кружков, но с учебной проблем точно не будет.

Слово держал: учился старательно. На родительских собраниях учителя хвалили и говорили, что схватываешь все буквально на лету.

Так, о чем это я начала писать... Да, твой таинственный ответ на НЕ мое письмо. Я долго размышляла, пытаюсь понять, откуда в тебе родился такой взволнованный, взрослый монолог? Спрашивать как-то неловко было.

Решила поделиться с коллегой по работе содержанием этой странной записи. Помедлив, она отметила, что у нее такое ощущение, будто где-то уже слышала эти слова. Через неделю пришла и сказала, что это текст письма, которое писал матери с фронта юный летчик, герой фильма «И ты увидишь небо».

Я разыскала эти стихи Лермонтова в собрании его сочинений. Правда, в фильме мальчик изменил некоторые слова, но так даже проникновеннее вышло.

Позже увидела фильм. Очень жалею, что мы не смотрели его вместе с тобой. Как болезненно сжималось сердце, когда я наблюдала за воздушным поединком двух самолетов! И как в эти обдающие жаром страха минуты хотела, чтобы ты, взрослый мой сын, держал меня за руку.

А еще меня очень взволновал эпизод, когда отец-генерал общался со своим не по годам возмужавшим сыном-подростком. Подумала тогда, что ты ни разу не расспрашивал меня о своем настоящем отце. Хотя, нет, однажды задал этот вопрос.

Мы шли из детского сада. Ты вдруг остановился у булочной и потянул меня за руку, требуя остановиться, и поинтересовался, кто твой папа: космонавт или моряк? В ответ на мое удивление пояснил: в садике ребята говорят, что некоторые папы выполняют важное задание и могут подолгу не приходить домой, а иногда даже насовсем переезжают жить в другое место.

В тот момент удалось переключить твоё внимание на покупку ароматных плюшек с изюмом, выложенных на витрине булочной.

Ночью я лежала без сна и думала-думала. Придет время, когда ты уже более осознанно задашь мне этот непростой вопрос. И тогда не получится уйти от ответа. И говорить надо только правду. Но где найти силы, чтобы открыть ее, такую непростую и горькую: твой отец оставил нас, когда ты был совсем еще крошкой?

Но время решило эту непростую задачку за меня: в моей жизни вскоре появился очень хороший человек. Он принял тебя, как родного. И полностью заменил отца. Это, сынок, стало для меня огромным счастьем!

Нет, отчим не баловал, а воспитывал в уважительной строгости. Ты всем сердцем тянулся к нему.

Помнишь, как по выходным вы частенько пропадали в гараже? Корпели над сборкой мопеда. И ведь собрали его! Как отчим гордился твоей хваткой и способностям к работе с различной техникой. Он же тебя и ездить научил на том самом мопеде.

А когда тебе исполнилось одиннадцать, родилась твоя сестренка. Ты сам вызвался выбрать ей имя. Читал книжки на ночь, иногда даже помогал мне ее пеленки гладить. Сразу как-то заметно старше стал. И любил повторять, что тоже за сестру отвечаешь, раз она решила родиться в нашей семье. Мы с твоим отчимом искренне радовались такой вот твоей взрослости. И поражались, как ты все успеваешь: и учился, и спортом занимался. С сестрой, словно нянька, возился с удовольствием, и по дому первый помощник.

В школе тебя лидером считали. Классная руководительница мне как-то сказала, что умеешь и со взрослыми, и со сверстниками налаживать отношения. Не заискивая, не ища дешевой популярности. Чувствовался в тебе тогда уже внутренний стержень.

Особенно ярко он проявился, когда после девятого класса со своим аэроклубом ты уехал на сборы. Ну, сборы и сборы, – думала я. Обычный летний лагерь. Палатки. Песни у костра. Но даже и

предположить не могла, что ты, отзанимавшись всего полтора месяца, сможешь самостоятельно летать!

Сейчас вот пишу, сынок, а в глазах защипало от подступивших слез. Вроде бы, мать, вроде бы, должна знать своего ребенка, как облупленного. Но я чем дальше, тем больше осознаю, что невозможно до конца разобраться во внутреннем мире другого человека, пусть даже и родного. Как часто мы надумываем-придумываем себе его мысли, предполагаемые нами его поступки. Может, поэтому и бывает между людьми так много недоразумений в отношениях, что пытаемся по своему лекалу их кроить?

Вспоминая тебя, твою цельность, устремленность в небо, понимаю, что оно сделало тебя осознанным человеком раньше, чем это обычно бывает с ребятами твоего возраста.

Помню, когда поступал после школы в летное училище, конкурс был очень большой, но в приемной комиссии сразу тебя выделили, поскольку сочли вполне подготовленным летчиком. И это все – результат твоего кропотливого труда, сынок. Я так тобой гордилась!

...И вот мой сын – летчик. Боевой офицер.

У тебя всегда были особые отношения с небом. Здесь, на земле, можно сотни раз любоваться восходами, закатами. Но то трепетное ощущение причастности к чему-то великому, до конца неизведанному и потому непостижимому, оно звало тебя, побуждало и вело.

Раньше, когда ты служил, я относил твое непреодолимое стремление летать к издержкам профессии. Теперь же понимаю, что именно этот зов не позволил тебе после выхода на пенсию сузиться до копания в огородных грядках. А ведь мне тогда показалось, что все самое напряженное и томительное позади.

Как сложно смириться с тем, что путь, выбранный единственным сыном, входит в противоречие с моим житейским представлением о жизни. Ведь, все в ней должно быть именно так! Потому, что материнское сердце этого требует! Требуется спокойствия и уверенности, что с моим – пусть уже взрослым сыном, ставшим мужем и отцом, ничего страшного, ничего плохого не случится!

Но нестерпимая горечь этого противоречия в том, что наши сыновья снова и снова будут делать свой героический выбор, невзирая на жгучее желание каждой матери защитить, уберечь, заслонить...

Прости, сынок, что не смогла защитить, уберечь, заслонить тебя! До самой смерти буду корить себя за это, умом понимая, что не может быть моей вины в случившемся, но как же принять это сердцем?..

И вот снова и снова болезненной жилкой у виска пульсируют воспоминания того страшного дня.

Сначала мы еще верили. Заевшей пластинкой повторяли друг другу утешительные слова. Звонили. Цеплялись за обнадеживающие ответы. Вздрагивали от любого звука, похожего на стук в дверь. И до последнего гнали мысли о непоправимом.

Как чудовищна очевидность. Все эти дни на ум приходили слова моей бабушки, у которой во время Великой Отечественной войны сын пропал без вести:

– Я до сих пор жду, что он вот-вот вернется.

Без вести...

Без какой бы то ни было вести! Плохой ли, хорошей.

Ничтожная, но надежда!

...Сухой короткий текст статьи в интернете. Я знаю его наизусть. Он снится мне ночами черно-белым фильмом, снятым на старую зернистую киноплёнку, скрывающую часть необратимых слов.

«...Для нанесения удара требовалось залететь за линию боевого соприкосновения. При развороте на боевой курс самолет был обстрелян из вражеских ПЗРК. Одна из ракет попала в корпус. Летчики понимали, что не донесут бомбы до цели и что спастись уже невозможно. Летчик [...] не растерялся и направил горящий самолет на колонну противника. Через несколько секунд борт врезался в скопление бронетехники ВСУ. Его героические действия назвали повторением подвига летчика Великой Отечественной Николая Гастелло».

Торжественная траурная музыка.

Флаги.

Цветы.

Закрытый гроб, укравший у меня возможность увидеть тебя в последний раз.

Бесконечные прощальные речи периодически заглушает неотступно звучащий в голове вопрос, биваемый гвоздями в мой воспаленный мозг: «О чем ты думал в эти последние секунды, сынок?»

– Как вам удалось воспитать Героя России? – вопрос журналистки застаёт врасплох.

Я долго размышляю над ответом.

Ты жил обычной жизнью, сынок. И все в ней шло своим чередом. Твоей нормой были требовательность к себе и желание сделать все как можно лучше. Честно и правильно. Ты привык всегда доводить начатое до конца.

В тот роковой день не думал о собственной жизни.

Боевая задача поставлена.

Ты не мог поступить по-другому.

И ты увидел Небо...

[1] *«Маленький принц»* – повесть Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944 гг.)

[2] *«Маленький принц»* – повесть Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944 гг.)

[3] Михаил Юрьевич Лермонтов 1831-го июня 11 дня (*«Моя душа, я помню...»*)

Павлова Вера Валерьевна - родилась в городе Тирасполь, МССР. Специалист педагог. Заведующая детским садом. Известная приднестровская детская писательница. Член ЛИТО им. А. Дрожжина. Победитель конкурсов проводимых при поддержке АНО «Евразия». Член жюри республиканских конкурсов для детей. Живёт в городе Бендеры, Приднестровье.



Судьба Всеволода Остена

Существуют авторы, чьи книги становятся не просто литературным фактом, а свидетельством на великом суде истории. Всеволод Остен – именно такой писатель. Его судьба – зеркало, в котором отразились боль и невероятная стойкость целого поколения. Для нас, живущих в XXI веке, его произведения служат нравственным камертоном, помогающим нащупать грань между человеческим естеством и абсолютным небытием.

Написание эссе об Остене – это попытка осознать, как слово может стать щитом. Когда физический мир вокруг превращается в пыль и пепел, когда единственной реальностью становится колючая проволока, выживает тот, кто находит в себе силы созидать. Всеволод Викторович не просто выжил – он вынес из ада свидетельство, которое не позволяет нашей памяти остыть.

Войну Всеволод Остен встретил молодым человеком, полным надежд. Его путь лежал через передовую к самому эпицентру организованного зла – концентрационному лагерю Маутхаузен. Это было место категории III, предназначенное для «неисправимых врагов Рейха», где людей истребляли изнурительным трудом в гранитных карьерах.

Символом этого ада стала «Лестница смерти» (Todesstiege) – 186 неровных, скользких ступеней, по которым узники поднимали огромные валуны. В прозе Остена камень предстает одушевленным врагом: он «злопамятен» и ждет малейшей слабости, чтобы увлечь человека в бездну. В эти моменты мир заключенного сужался до одного осознанного усилия – сделать следующий шаг и не упасть.

Именно здесь, в условиях, где физический мир превращался в пепел, Остен начал писать. Его стихи того периода бьют наотмашь своей прямоотой:

Снова карьер. И камни, камни...
Снова проклятая гора.
Чужими, серыми руками
Мы смерть копаем со двора.

Анализируя стойкость Остена, невозможно не провести параллель с австрийским психологом Виктором Франклом. Оба они пришли к идентичным выводам: у человека можно отнять всё, кроме «последней свободы» – выбора отношения к происходящему. Если Маутхаузен был сердцем нацистской машины уничтожения, то его «Лестница смерти» (Todesstiege) была пульсом этого ада. В своих рассказах Всеволод Остен превращает этот архитектурный объект из простого перечисления ступеней в метафизический символ борьбы человека с материей и собственной слабостью. Остен описывает лестницу не как путь вверх, а как конвейер по переработке живых людей в прах. 186 ступеней, вырубленных в граните, разной высоты и формы, скользкие от дождя или крови – это идеальный инструмент пытки. В рассказе автор акцентирует внимание на камне. Камень у Остена – это одушевленный враг. Огромные валуны, которые узники несли на плечах, становятся продолжением их собственного тела, тянущим в бездну.

Писатель мастерски использует контраст: тяжелый, бездушный гранит и хрупкое, изможденное человеческое тело. В этом противостоянии он отдает победу человеку. Остен подчеркивал, что даже на «Лестнице смерти» выживало товарищество: когда один ослабевал, другие подставляли плечо, превращая орудие пытки в место высшего духовного единения.

Несмотря на название, лестница у Остена – это путь восхождения духа. Каждый, кто прошел эти ступени и не предал товарища, не потерял человеческое лицо, совершил акт сакрального подвига. Писатель мастерски использует контраст: тяжелый, серый, бездушный гранит карьера и хрупкое, изможденное, но живое человеческое тело. В этом противостоянии Остен отдает победу человеку. Его рассказ о лестнице – это не хроника поражения, это гимн преодолению. Он показывает, что даже если тело в итоге упадет на 187-й ступени, дух побеждает в тот момент, когда человек делает первый шаг с верой в свою правоту. Для Франкла смыслом была научная работа, для Остена – поэтическая фиксация правды. Оба утверждали: выжили те, кому было ради чего жить. Остен

выживал ради того, чтобы рассказать о тех, кто остался в каменоломнях. Его творчество – это логотерапия в действии, где слово исцеляет изувеченную душу.

Освобождение пришло в мае 1945 года, но для советских военнопленных радость была омрачена тенью подозрений. Первые послевоенные годы стали для Остена «вторым кругом ада» – фильтрационные лагеря и допросы. Однако он прошел и это испытание с достоинством, сохранив верность правде. В своем знаковом произведении «Встань над своей смертью» Остен ведет археологические раскопки человеческой души. Он ищет «микро-подвиги»: деление коркой хлеба, заучивание стихов на обрывках цементных мешков. Его слог лаконичен, это «эстетика шрама»:

Не жди пощады, не проси,
Судьбу свою в руках неси.
Пусть кровь течет из-под бинтов –
Будь к смерти каждое мгновенье ты готов!

Сегодня имя Всеволода Остена – это символ неразрывной связи нашего края Приднестровья с большой историей. Его биография учит: истинный патриотизм – это не громкие лозунги, а способность сохранять внутренний свет в самые темные времена.

Право на слово и мирный труд, которые мы воспринимаем как данность, были выкуплены его поколением на «Лестницах смерти» по всей Европе. Наш долг сегодня – жить так, чтобы на ступенях нашей собственной судьбы мы всегда находили силы подать руку тем, кто идет рядом. Стойкость Остена учит нас тому, что истинный патриотизм – это не громкие лозунги, а способность сохранять внутренний свет в самые темные времена. В мире, который снова становится хрупким и непредсказуемым, его книги напоминают:

«Человек – это то, что он помнит, и то, что он защищает».

Пусть эстафета его памяти не станет формальностью. Читая Остена, вслушиваясь в чеканный ритм его строф, мы учимся главному – ответственности. Ответственности за каждый свой поступок, за каждое сказанное слово. Всеволод Викторович доказал, что даже один человек может противостоять машине уничтожения, если за его плечами стоит Правда. Мы – наследники этой Правды. И наш долг сегодня – жить так, чтобы на ступенях нашей собственной жизни, какими бы крутыми они ни были, мы всегда подавали руку тем, кто идет рядом. В этом – высший смысл творчества Остена, в этом – залог бессмертия его духа. Всеволод Остен доказал: можно принадлежать всей стране, писать о трагедиях мирового масштаба, но при этом оставаться глубоко преданным конкретному клочку земли у реки. Смерть можно победить только Жизнью. Остен это сделал. Теперь – наш черед.

Авдеенко Сергей Иванович – родился в 1952 году в г. Мелитополь. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Печатался в известных литературных журналах России. Автор многих художественных и историко-документальных книг. В течение девяти лет (2014-2022) работал над книгой «Длинная дорога домой. Крым. Донбасс. Новороссия», в которой отразились драматические события, происходившие на Украине. От событий Майдана в Киеве до СВО. Эта книга издана в Москве издательством «Вече» в 2025 году. Живёт в г. Мелитополь, Запорожская область России.



Подарок

В этот предновогодний день в супермаркете было многолюдно. Покупатели с тележками на колёсиках, гружёнными товаром, выстроились в очереди к кассам. Рома с мамой стояли в одной из них. Очередь продвигалась медленно, а затем и вовсе застыла.

Мама, увидев это, сказала сыну:

– Подожди меня у входа!

Рома не любил ходить по магазинам, но в этот раз он не мог отказать маме: 31 декабря был не только последний день старого года, но ещё и день его рождения. Угораздило же его появиться на свет именно в этот день! Ребята тоже празднуют: одни – зимой, другие – весной, третьи – летом с осенью; но без всякого напряжения, беготни, толкотни. Люди с нетерпением ожидают прихода Нового года, а тут он, Рома, со своим днём рождения!

Когда был жив папа, в этот день они вдвоём ездили на каток, катались на коньках; замёрзнув, отогревались в детском кафе, поедая вкусные пирожные. Затем, уставшие и довольные, возвращались домой. Мама уже испекла пирог, в него вставляли тонкие восковые свечи; папа зажигал их, а он, Рома, должен был задуть. Если сразу не получалось, зажигали вновь.

В последний раз стояло десять свечей. А потом папа ушёл воевать. Рома знал, что СВО – это специальная военная операция. И проводится она на Украине. Но тогда он не знал, что не все отцы живыми с неё возвращаются.

«Сегодня, – с тоской подумал мальчик, – должно быть двенадцать...»

Но свечи после смерти папы больше не зажигали. Теперь Рома считался большим. Об этом сказал Игорь – мамин знакомый. Откуда он появился, Рома не знает. Однажды мама привела его в дом. Он пожил месяц, потом надолго пропал. Недавно снова объявился.

Мама говорит, что Игорь занимается бизнесом, часто в разъездах. И вообще он, мол, хороший: жалеет её. Трудно ей одной воспитывать сына.

– Меня не надо воспитывать! – вспылал Рома.

Ему не понравилось, что Игорь потребовал показать ему школьный дневник. Мальчик сказал, что забыл его в классе. И очень обрадовался, когда Игорь об этом больше не спрашивал.

А маме Рома сказал: «Я сам со своими делами справлюсь! Обещаю...»

И слово своё сдержал: никаких замечаний из школы не поступало.

И вот теперь день рождения! Мама хочет, чтобы они посидели за одним столом втроём: она, Игорь и Рома. Даже намекнула, что Игорь приготовил ему, Роме, подарок.

– Увидишь – ахнешь! – сказала она. – Дорогуший...

Рома промолчал. Конечно, папа всегда что-то дарил своему сыну. Но дорогих подарков не делал. Ведь он не бизнесмен какой-то, а обычный преподаватель математики в университете. Чтобы денег заработать, брался за репетиторство. Рома помнит, как в их дом приходили студенты. Папа занимался с ними допоздна. Когда они уходили, мама сердилась: почему такая низкая оплата? Папа говорил, что многие студенты из бедных семей, живут на стипендию. Он будет рад, если они полюбят математику и когда-нибудь добрым словом вспомнят своего преподавателя.

«Как же, вспомнят!» – бурчала мама.

Рома видел, что она любила папу и он её тоже. Когда они о чём-то спорили, то делали это без злости и быстро мирились. И если бы папа остался жив, всё было бы хорошо. А теперь...

Мальчик задумался и не сразу обратил внимание на то, что на него пристально смотрит какой-то парень. Рома подумал, что незнакомец обозначился, приняв его за кого-то другого. Но нет! Парень

подошёл ближе:

– Ты Рома?

– Да...

– Я учился у твоего отца...

Рома обратил внимание, что у парня загорелое лицо. В декабре увидеть такое удивительно!

Парень как будто прочитал мысли мальчика:

– Вот недавно прилетел...

– Откуда?

– Из Арабских Эмиратов. Там жарко.

– Вы студент? – спросил мальчик.

– Теперь я – программист. Твой отец меня научил любить математику.

– Я тоже люблю математику, – сказал Рома. – Но не всё получается.

– У тебя получится!..

Они замолчали.

– Я пойду, – спохватился Рома. – Мама ждёт.

– Подожди! Я не поздравил тебя с днём рождения!

– Откуда вы знаете о моём дне рождения? – удивился мальчик.

– На третьем курсе я заболел и пропустил экзамен. Меня хотели лишить стипендии. И тогда я пришёл к вам домой! Это было тридцать первого декабря. Твои родители сидели за праздничным столом. Мама сказала, что у тебя – день рождения.

– И что было дальше? – спросил Рома.

– Я извинился и хотел уйти, но твой папа не позволил. Он провёл меня на кухню и там принял у меня экзамен.

«Странно, – думал Рома. – Я помню папиных студентов, которые приходили к нам домой...»

– Держи! – сказал парень и вложил в ладонь мальчика что-то металлическое.

– Это что?

– Ключ от камеры хранения!

– Ключ?

– Там подарок!

– Какой подарок?

– Увидишь...

Мальчик хотел расспросить о подарке, но в это время его позвала мама. Когда он оглянулся, то парня с загорелым лицом уже не было.

* * *

Рома занёс тяжёлую сумку с продуктами в квартиру. Мама принялась разбирать её. Мальчик, не раздеваясь, стоял в коридоре.

– Мам... А мам...

– Чего?

– Можно, я погуляю?

– Только недолго, – сказала мама. – Игорь скоро придёт...

Но мальчик уже не слушал её. Выбежав из подъезда на улицу, Рома достал из кармана ключ от камеры хранения. В супермаркете таких камер много, туда покупатели кладут свои вещи. Но этот ключ – особенный. Рома это сразу понял. Он был с биркой. На ней выбит номер – 31. Это день его рождения.

«А что, если это обман?– испугался Рома. – Парень решил надо мной подшутить...»

Мальчик в раздумье постоял у входа в супермаркет. Затем решился. Нашёл ячейку с таким номером, как у него; вставил ключ. Дверца легко открылась. В ячейке лежал пакет. Он протянул руку.

«Вот так дела!»

В пакете были маска для подводного плавания и ласты.

Рома вспомнил, как перед отъездом на войну папа позвал его на улицу прогуляться.

– А когда ты вернёшься? – не сдержался Рома.

– Скоро, сынок, – ответил отец.

– Мы с тобой летом на море собирались...

– Обязательно поедem. Надо только чуток подождать...

– А маска, а ласты? Ты обещал...

– Будут тебе и маска, и ласты.

– А когда?

– В день рождения, – сказал папа.

Папа погиб раньше Ромкиного дня рождения. Ещё недавно он разговаривал с ним по телефону, а через несколько дней пришло известие, что его нет в живых.

Мальчик почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Если бы папа их увидел, ему не понравилось бы, что его сын плачет. Рома вспомнил любимую папину поговорку:

Не стоит в жизни огорчаться.

Что б ни случилось, не сдаваться!

Он хотел закрыть ячейку камеры хранения, но увидел на дне конверт. Это что такое? Мальчик раскрыл его, достал лист бумаги. Кто-то на компьютере набрал текст и распечатал его на принтере. Не может быть! Эти слова он только что вспоминал: «Не стоит в жизни огорчаться...»

Но как парень, который отдал ему ключ от камеры хранения, мог знать о них? И потом, откуда он появился и куда исчез?

Рома оглянулся, словно пытаясь найти в магазинной толпе его загорелое лицо. И вдруг понял, что всё: маска, ласты, конверт – это подарок его отца... И не важно, как это было сделано – главное, что папа о нём, Роме, помнит!

– Я тоже помню тебя, папа, – тихо сказал Рома.

Войдя в подъезд своего дома, он услышал жалобное мяуканье. Мальчик хотел пройти мимо, но что-то остановило его.

«Котёнок! Откуда он здесь?»

Мяуканье продолжалось. Мальчик нагнулся, взял на руки дрожащий комочек. Поднёс его к свету и не поверил своим глазам. Когда-то они с папой собирались завести рыжего котёнка. Тогда не получилось, а вот сейчас он, рыженький, сидит у него, Ромы, на руках.

Мальчик прижал котёнка к груди и стал подниматься по ступенькам вверх.

– Наконец-то! – обрадованно сказала мама и куда-то в глубь квартиры крикнула: – Пропажа нашлась!

– Давай мой руки, – торопливо говорила она, – и сразу – к столу... Игорь приготовил тебе подарок...

– У меня уже есть подарок!

– Какой подарок? Откуда?

– От папы, – сказал мальчик.

Добавить комментарий

Комментарии